

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

ДО ВСТРЕЧИ
НА НЕБЕСАХ!



НЕБОЖИТЕЛИ
ПОДВАЛА

Леонид Анатольевич Сергеев

До встречи на небесах!

Небожители подвала

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38580064

До встречи на небесах! Небожители подвала. Повести. / Сергеев Л.А.: У

Никитских ворот; Москва; 2018

ISBN 978-5-00095-574-1

Аннотация

Прозу Леонида Сергеева отличает проникновенное внимание к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

Автор – лауреат премий им. С. Есенина, им. А. Толстого, им. С. Михалкова, им. В. Шукшина, Первой премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 г., Первой международной премии «Литературный Олимп» 2011 г.

Содержание

Мои друзья-стариканы, или Добро пожаловать в наше прошлое!	4
Ох уж эти женщины!	63
Клуб писателей	81
Сборище гениев	82
Как я вступил в десятитысячную армию писателей, с кем воевал, какие имею ранения и награды	129
Пусть смеются над нами	204
До встречи на небесах!	223
Те далёкие времена	227
У вас есть мечта?	251
Конец ознакомительного фрагмента.	252

Леонид Сергеев
До встречи на небесах!
Небожители подвала

**Мои друзья-стариканы, или Добро
пожаловать в наше прошлое!**

*Империи создают титаны, а разрушают
пигмеи.*



МОИ ДРУЗЬЯ-СТАРИКАНЫ,

или

**ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШЕ ПРОШЛОЕ!**



Мои друзья – шестидесятилетние, искушённые, выдавшие виды, прокуренные, проспиртованные стариканы; одни – седые, тучные, одутловатые, с четверными подбородками, обвисшими животами и ляжками, как галифе; другие – лысые, тощие, высохшие, сутулые, беззубые и со вставными челюстями – точь-в-точь огородные пугала. И все гипертоники, язвенники, с аденомами и грыжами; у одного от давления раскалывается голова, второй от радикулита и разогнуться

как следует не может, у третьего так изношены суставы, что слышен треск, – у каждого свой набор недугов (у некоторых истории болезней уже составляют несколько томов – то есть они, стариканы, уже попросту мешки с костями). Все, понятно, – завзятые пьяницы и обжоры, они всю жизнь относились к здоровью наплевательски, но теперь, хмырики, зашевелились, притормозили с куревом и выпивками, стали беречь то, что осталось от здоровья, – некоторые хотят протянуть до сотни лет и при встрече избегают разговоров о смерти.

Притормозили – значит, уменьшили убойные дозы, а не завязали совсем – ни в коем случае. Мы не терпим трезвенников – тех, кто считает, что мы «отравляемся»; с такими праведниками не тот разговор – не тот настрой, не то откровение; мы давно заметили – непьющий и некурящий мужчина редко бывает хорошим товарищем. Некоторые из моих друзей, и я в том числе, притормозили совсем немного – можно сказать, просто перешли из профессионального клуба в любительский, – вот ещё! – отказываться от привычного, ведь алкоголь не просто поднимает настроение и делает разговор задушевным, но и расширяет сосуды, и, ясно, – голова работает лучше. Толстой говорил Бунину: «Когда собираются друзья, они, конечно, должны выпить, покурить». Хотя, надо признаться, после затяжной пьянки ночью скручивает, глотаешь таблетки, пьёшь настойки. И с утра туго соображаешь – где проснулся, какое время суток? Пару дней в себя приходишь. Такие дела.

Теперь нам уступают место в транспорте, молодёжь называет «дедами», а дряхлые старцы нет-нет да и спросят: «Ты на каком фронте воевал?» Понятно, это уж слишком! Ну, короче, у нас есть запас прочности, в наших глазах ещё не потух некоторый задор (не фонтан жизненных сил, но определённый азарт), и наши беседы за бутылкой водки проходят довольно забористо. А поговорить нам есть о чём, ведь нашему поколению выпала насыщенная эпоха.

Мы были столичными мальчишками военного времени и помним воздушные тревоги, ночёвки в метро, противогазы, «зажигалки», бомбоубежища, и «ежи» на площадях, прожектора и зенитки, и хлебные карточки. И помним эвакуацию на восток, и плотно заселённые общаги, и выбитые «пятки» перед ними, и «буржуйки», и керосиновые лампы с нитями копоты, и неотапливаемые школы, и обёрточную бумагу вместо тетрадей, и один учебник на троих. Мы прошли через голод и похоронки. У нас было трудное детство, потому мы и знаем цену вещам.

Но были у нас и свои радости: подножки трамваев, железные каталки, «расшибалки», «махнушки», и жмых, и самокаты, которые мы мастерили своими руками и которые были для нас не менее ценными, чем мотоциклы для теперешних подростков. И были рыбалки и катанья на льдинах, лапта, городки и чиж, и дворовые футбольные команды, и свалки трофейной техники, и трофейные фильмы, и прекрасные песни военных лет, и было главное – бескорыстная надёжная

дружба, которой теперь не сыскать, ведь теперь отношения по большей части строятся на полезности, выгоде.

Я вспоминаю послевоенные годы, наши лыжные походы, и плаванья по речкам на плотах, и первые открытия в природе, которая тогда ещё не была так изуродована, как сейчас. В лесу, а не в зоопарке, мы видели лосей, волков, лисиц... О зайцах и белках и говорить не приходится – они забежали на городскую окраину. В те времена реки ещё были прозрачными – дно просматривалось на пятиметровой глубине; протоки забивали кувшинки, заводи – лилии; в лугах раскачивался высоченный травостой, в котором запросто исчезал грузовик, в лесах ещё не спилили огромные, в три обхвата, деревья, и возвышались гигантские, с киоск, муравейники, и встречались широкие поляны крупных ромашек и колокольчиков – теперь такое увидишь только на фотографиях. Между тем с этих красот и началось наше творчество: первые рисунки и стихи. Так что, воспоминания обо всём этом не просто фокусы памяти, а немалая ценность. Не зря же Достоевский говорил: «Воспоминания из детства служат ориентиром всю жизнь».

Молодым людям не понять, как пожилой человек цепляется за хорошее в прошлом, что воспоминаниями мы не просто возвращаем воздух детства и юности, но и пытаемся приостановить время, задержать уходящее. Ведь в молодости, когда живёшь интенсивно, когда полно впечатлений, переживаний, время растягивается и его не ценишь, а под ста-

рость, в упорядоченной и в общем-то однообразной жизни, время летит быстрее и, естественно, им уже дорожишь – тем более что жизнь оказалась намного короче, чем мы думали. Намного короче.

Кое-кто из теперешней молодёжи считает нас обманутым поколением, чуть ли не духовными мертвецами, но это абсолютнейшая чушь. Действительно, идейное давление было, но не такое уж сильное, как трезвонят теперь «реформаторы» (я, например, всегда увиливал от комсомольских собраний, взносы не платил, и мне всё сходило с рук). Конечно, вожди пытались сделать из нас послушную массу, но у них ничего не получилось. Да и как получится, ведь характер, талант, интуицию, воображение массовым не сделаешь. Надо сказать, и это никому не оспорить, в основном нас воспитывали на классике. Взять хотя бы радио – звучали целые оперы и спектакли, – именно благодаря радио мы знаем великие музыкальные произведения.

А какие были фильмы! Для детей – гуманные, зовущие к добру сказки режиссёров Птушко и Роу, для подростков – романтические «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ» и музыкальные комедии Пырьева и Александрова; и пусть в них было немало наигранности, иллюзий счастливой жизни, некой мечты, но они помогали жить, давали надежду. Не то что теперь, при бесчеловечном режиме, когда всё искажено и, чего скрывать, сплошное огрубление и опошление искусства; телевидение навязывает де-

тям ужасиков, уродов телепузиков, монстров; подростков оболванивает фальшивыми ценностями, антикультурой, даёт ложные ориентиры, сбивает их в агрессивную стаю, а между тем искусство для того и существует, чтобы прививать нравственность, духовные интересы, чтобы каждый пытался стать самобытной личностью.

Ну а возможности для нашего развития были просто фантастические. Пожалуйста: детские библиотеки (случалось, за книгами записывались в очередь), художественные, музыкальные и спортивные школы, Дворцы пионеров с многочисленными кружками: драматическим, хоровым, танцевальным, корабле- и самолётостроительным, фотографическим, шахматным – глаза разбегались, выбирай любой поклонностям, и всё бесплатно, только ходи! И не зря над Дворцами висел лозунг: «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (сейчас у клубов – «Учись развлекаться!» и прочая дребедень).

А какие были катки в парках, когда сотни конькобежцев под музыку носились по аллеям, время от времени забегая в раздевалки, чтобы выпить – не пиво, которое теперь молодёжь распивает в подъездах и даже в метро, а кофе с молоком! И где сейчас лодочные станции и праздники на воде с фейерверком, парады физкультурников, духовые оркестры на открытых эстрадах в парках культуры и танцы на площадях? А у нас всё это было! Был неподдельный энтузиазм без всякой показухи, и эти праздники, демонстрации давали ощущение единства нации, мы гордились, что являемся ча-

стью великой страны. По-настоящему гордились.

Что особенно важно, совместные занятия в кружках, соревнования на стадионах, когда сдавали нормы на значки БГТО и ГТО, субботники, посадка деревьев всем двором, развешивание скворечен и кормушек для птиц, сбор металлолома, пионерские лагеря, помощь колхозникам в уборке урожая, походы с рюкзаком и песни у костра – всё это и многое другое (даже коммуналки!) сближали нас, делали отношения истинно товарищескими, а то и братскими. Потому мы и знаем, что общность людей, дух коллективизма – не пустые слова; тот дух – самое значительное, что мы вынесли из детства и подросткового возраста. Это совершенно ясно теперь, во времена дикого капитализма, когда каждый выживает сам по себе, пробивается, расталкивая других, взяв на вооружение клич «демократов»: «Бери свободы сколько проглотишь! Делай деньги любым способом!». «Демократы» разогнали пионерию и комсомол, но что дали взамен? Вот и появились тучи беспризорников, наркоманов, проституток-малолеток; и если раньше героями были лётчики, полярники, геологи, то сейчас, в разбойничье время, – крутые бизнесмены, бандиты, рэкетиры. В основном именно они.

Раньше каждый мог без всяких денег поступать в любой институт – ради бога, если голова варит; а сейчас без кругленькой суммы в вуз и соваться нечего. Раньше молодые люди ехали на Север, БАМ, целину, мечтали что-нибудь изоб-

рести, открыть, а сейчас – только и думают, как бы заняться бизнесом, купить иномарку или умотать на Запад. И конечно, мы гордились своей страной, а сейчас делается всё, чтобы молодёжь её ненавидела, – достаточно посмотреть телевизор, полистать газеты.

Нельзя забывать, что в СССР каждый год происходило снижение цен на основные товары, постоянно открывались новые железные дороги, заводы, научные институты. Многие жили бедно, но оставались приветливыми, весёлыми, а сейчас на лицах безнадёжность, озлобление. Раньше у страны было будущее, а сейчас впереди сплошная безысходность. Совершенно ясно – социализм неизмеримо справедливей и гуманней волчьих законов капитализма. Не случайно западники считают, что революция в России заставила капиталистов повернуться лицом к простому народу, сделать капитализм менее волчьим. Не случайно.

Ну а наша юность прошла бурно. Одни из нас учились в институтах, обогащались знаниями, закладывали могучую базу и одновременно всюду кропали стихи; другие, отслужив в армии и приехав в столицу из провинции, перебрали кучу профессий, пока не нашли себя в искусстве. Одни с помощью учителей постигали премудрости литературного ремесла, другие до всего докапывались самостоятельно, но и те и другие жили меж двух культур: традиционно высокой и лакировочной, помпезной, временами попросту между красотой и уродством.

Была ещё одна культура, расширяющая скудное информационное поле, – «кухонная», где читали самиздатовскую запрещённую литературу, по «вражеским голосам» сквозь глушилки слушали джаз и пересказывали анекдоты про власть имущих. Такая мешанина среды проживания не давала расслабляться, тем более что приверженцы разных культур не переваривали друг друга, и в богемных кругах частенько возникала накалённая атмосфера. Но, в отличие от благополучной, размеренной (когда решены основные проблемы) и скучноватой жизни на Западе, у нас всё время что-то происходило, менялось, мы находились в постоянном движении, жили среди контрастов, и, понятно, нам скучать не приходилось. К тому же на Западе ценилось богатство, а у нас искренняя дружба и бескорыстная любовь; у нас быть богатым или сыном какого-то деятеля считалось неприличным.

Особенно напряжённым было время, когда состоялся известный съезд и закрытый доклад, который передавался по цепочке слухов; приоткрыли занавес над прошлым нашего отечества, и все увидели жуткую картину – оказалось, идеи социализма реализовывались не так гладко, как нам внушали; лозунги коммунистов сразу затрещали по всем швам.

С колокольной хрущёвского времени многое в деятельности Сталина выглядело чудовищным (за что сидели Вавилов, Заболоцкий и многие другие невинные?), но и тогда возникал вопрос: без диктатуры сохранилась бы страна в годы хаоса и разрухи? А теперь и вовсе доказано, что репрессии на-

чинали троцкисты, что в верхушке палачей все сплошь были сионистами. (Троцкий рассматривал русский народ как «хворост», чтобы разжечь мировую революцию.) Сейчас все злодеяния приписывают Сталину, между тем, как выяснилось, понятия «враг народа» и «тройки» ввёл Троцкий, и лагеря ГУЛАГа его детище, и он же лично расстреливал русских офицеров и считал, что «терроризм необходим для построения коммунизма». Даже «свой» Г. Боровик признаёт – «Если бы власть взял не Сталин, а Троцкий, было бы хуже».

Кстати, сейчас, когда Россия умирает, когда её вновь захватили единоверцы Троцкого, просто необходима диктатура, но русских, а не «русскоязычных», и честных патриотов. Как говорил Блок, «для управления Россией требуются люди верующие, умные и честные».

Потом подняли другой занавес – «железный», и начался бум: на экраны вышли зарубежные фильмы, на выставках появился Пикассо и польские авангардисты, приехал Ив Монтан, Москву заполонила фестивальная молодёжь; одно за другим возникали кафе, где открыто играли джаз, танцевали рок-н-ролл и буги-вуги. Тогда, в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, по столице прокатился океанский вал, всколыхнувший молодёжь, – она истосковалась по свободе, и теперь повсюду разгорались жаркие споры. Это был прорыв в новый мир, мы нашли то, что искали, видели то, что хотели видеть. События тех лет уже далеко от нас, но мы их помним отлично.

Вожди всполошились – как бы не расшатали всю систему, и вскоре вновь опустили занавес. Старые мухоморы! Им пораскинуть бы мозгами, дать молодёжи возможность выпустить пар, и скоро стало бы ясно – и у западников ерунды хватает; во всяком случае, авангард осточертел бы гораздо быстрее, чем кондовый соцреализм, а, главное, лучшая, мыслящая часть молодёжи не приняла бы многие западные стандарты и разные ничтожные цели вроде обогащения (даже сейчас, когда приходится думать о выживании, немало парней и девчонок, для которых богатство не предел мечтаний). Ну а всё стоящее, качественное у западников надо было перенять, это пошло бы только на пользу.

И следовало преобразовать пионерию и комсомол в молодежные организации по типу бойскаутов, зелёных, антиглобалистов. (У этих последних вполне привлекательный лозунг: «Не дадим всему миру превратиться в одну потребительскую Америку! Сохраним разность культур!» В самом деле, не могут разные страны жить по одним правилам, глобализм уничтожит особенности народов.) Следовало на госслужбу выдвигать людей не по преданности партии, а по умственным способностям. И поменьше пичкать людей идеологией, а побольше дать им самостоятельности.

А всех, кто рвался на Запад, надо было выпустить. Истинно русские не уехали бы. Как не вспомнить великого патриота Чайковского, который презирал всех эмигрантов: «...меня глубоко возмущают те господа, которые с каким-то сла-

дострастием ругают всё русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления, прожить всю жизнь за границей, на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне, они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято».

И Пушкин говорил, что «никогда ни за что не хотел бы поменять Отечество». Видимо, не зря Андерсен считал Россию «жемчужиной всех государств Европы». Он имел в виду не только наше богатство (недрами) и красоту нашей природы, но и русский народ, добросердечный, бесхитростный, незлопамятный, для которого главное не «золотой телец», а духовные ценности и ценность человеческого общения. И не случайно лучшие из «инакомыслящих» – те, кто «метил в коммунизм, а попал в Россию» (Максимов, Синявский, Зиновьев), впоследствии пожалели о своей деятельности. А так что получилось? Оставшиеся диссиденты (разумеется, все «богоизбранные») при поддержке американцев стали изнутри разрушать страну, претворять в жизнь план Даллеса – «разлагать, развращать, растлевать советскую молодёжь». Всё запретное, даже третьесортное, стало вызывать повышенный интерес, дурацкий ажиотаж (сборник «Метрополь», «Бульдозерная выставка»). Короче, на сцену опять вылезли старые персонажи; выставки прикрыли, в кафе запретили играть «музыку гнивающего Запада», в газетах появились статьи о «тунеядцах». Так всё повернулось, хоть лопни, так.

Но новые веяния уже были неостановимы: под контролем

комсомола, но всё же играли джаз, и полулегально устраивались выставки авангардистов, на вечерах поэзии читались левые стихи, из-за кордона провозились пластинки и запрещённая литература. Перед нами ещё долго маячили вожди, дубоватые идолы, но мы оставались самими собой.

Кстати, в те годы среди моих приятелей художников и литераторов было немало диссидентов, но уже тогда я догадывался, что по сути их искусство разрушительное. (Позднее заметил, что оно ещё и антирусское. Поэт Б. Авсарагов говорил: «Все диссиденты – с червоточиной».) Эти мои приятели с радостью встретили разгром страны, и, после наших жутких споров, стало ясно – мы никогда не договоримся, у нас разные взгляды на жизнь вообще; я презираю всё, что они превозносят, и люблю всё, что они ненавидят. А ненавидят они не только коммунистов, но и нашу страну в целом, потому я и не принимаю то, что они делают. В оценке литературных произведений и всего искусства следует руководствоваться словами Пушкина: «Нет истины там, где нет любви». Это должно быть законом. Чётким законом. Попутно замечу – когда власть захватили «демократы», большинство этих моих приятелей укатили за границу, с оставшимися я порвал всякие отношения.

Конечно, у нас имеются немалые счёты с прошлым режимом, ведь существовала жёсткая система запретов; было трудно делать то, что не вписывалось в отведённые рамки, иногда от самоконтроля рука руку останавливала; и повсю-

ду было достаточно негодяев и хамов, но в сравнении с теперешним ельцинизмом, когда у власти сплошные подонки и ворьё, когда исковерканы судьбы миллионов, всё же дышалось легче; сейчас наступило форменное удушье – душит боль за разрушенное, разворованное и униженное Отечество. И, конечно, сейчас общий процент негодяйства и хамства в обществе вырос до невиданного уровня. Как не согласиться с Довлатовым – «после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов».

Бывали в нашей молодости и неприятные моменты: некоторых из нас вызывали в КГБ за «антисоветские разговоры», но у меня и моих друзей дальше угроз дело не пошло.

Я трижды посещал «Большой дом». Первый раз – ещё когда жил в Подмосковье и кто-то из соседей настучал, что с друзьями «ругаю власть». Второй раз – когда вернулся из Калининграда, куда ездил с неким Златкиным. Этот аферист Златкин уверял, что в Калининграде его друзья помогут нам устроиться в торговый флот. Мне, безработному и не имеющему постоянной прописки, это было как нельзя кстати. Но, когда мы прибыли в портовый город, выяснилось, что Златкин уехал из Москвы, чтобы на время скрыться от суда (как фарцовщик-валютчик), а меня прихватил за компанию (позднее я узнал, что этот негодяй имел большой стаж негодяйства). Короче, я вернулся в Москву, и меня вызвали в органы и долго выпрашивали о «цели поездки».

Третий раз мне предложили явиться в мрачное здание по-

сле того, как из Москвы уехала француженка Эдит, с которой я встречался пару раз. Мне сообщили, что отец француженки – адмирал и работает на разведку против нашей страны. Так в лоб и заявили.

– А она наверняка интересовалась настроениями нашей молодёжи, – объявили мне.

– Её интересовала любовь, – сказал я то, что и было на самом деле.

Во всех этих случаях я отделался суровым предупреждением, но те допросы, когда вначале с тобой разговаривают чуть ли не ласково и на «вы», потом вдруг врывается напористый тип и орёт:

– Ну, хватит! Мы всё знаем! Выкладывай всё начистоту, иначе!..

Эти допросы кое-чему научили меня, с тех пор я приобрёл особый нюх на стукачей и кагэбэшников, вычислял их по одному внешнему виду и никогда не ошибался. Такой нюх имел не я один, некоторые мои друзья тоже имели.

И всё же, всё же у нас была потрясающая молодость! Как ни рассуждай, а дружба, любовь, увлечения никак не зависят от тех, кто стоит у власти. Главное – мы не думали о деньгах, ведь основное, необходимое было дёшево, доступно. Плата за жильё – символическая; продукты (не деликатесы), вино и сигареты стоили недорого; кино, театр, музеи – копейки; любой мог поехать к морю, купив билет до Феодосии за восемь рублей, а у моря снять комнату почти за бесценок и пи-

таться в столовых на пару рублей в день. Именно в те годы многие из нас объехали полстраны. Я, например, автостопом прокатил тысяч семь километров. Попробуй теперь, когда все помешались на деньгах, проехать за одно спасибо хотя бы километр! Попробуй!

Чуть позднее я с друзьями объездил на машине всю европейскую часть России; мы останавливались где придётся и всюду чувствовали себя как дома; случались в пути поломки, но всегда находились бескорыстные помощники – не считаясь со временем, они копошились в нашей машине, автолюбители просто дарили запчасти, а водители грузовиков не раз наливали бензин бесплатно! Возможно ли такое теперь?!

Можно в чём угодно обвинять социализм, но нельзя не признать главного – попытка освободить человека от власти денег и установить социальную справедливость во многом удалась (понятно, в сравнении с западниками мы считались малоимущими, зато мы жили дружно, сплочённо, без забот о завтрашнем дне). И, бесспорно, была решена проблема национальностей – то, что сейчас раздирает всю страну. Раздирает, и ещё как!

В те времена мы часто ходили по речкам на байдарках и в каждой, даже самой бедной, деревне встречали доброжелательность и щедрость. Что показательно – в деревнях, уходя на работу, люди не запирали дверей; мы переступали порог избы, а нас встречал какой-нибудь кот или босоногий ребёнок (светловолосый, голубоглазый ангел, каких немало в

российских деревнях).

И в городах многие обходились простейшими замками, не то что теперь, когда ставят железные решётки, стальные двери, секретные замки, домофоны... И людей можно понять – такого простора для фантазий всяких аферистов и мошенников, такого воровства, как сейчас, никогда не было. Ведь тащат посуду и продукты, провода со столбов, строительную технику и оружие из воинских частей! И это ещё мелочи. Те, кто повыше, воруют грузовиками, эшелонами! О тех, кто на самом верху, и говорить не приходится – те воротилы хапают миллионы. Дорвавшись до власти, эти хищники не останавливаются ни перед чем, их аппетиты ненасытны: ради прибылей губят экологию, животных. Да, собственно, уже всеми признано, что наступило беспощадное время, звериная «демократия», когда деньги решают всё.

А раньше... Помню, в Крыму мы, как и многие туристы-дикари, разбивали палатку на окраине Судака; ходили в посёлок, ездили в Планерское, оставляя в палатке радиоприёмник, гитару, – ничего не пропадало. Вот так вот.

Немаловажно – в прежние времена можно было спокойно ездить по всей стране, а сейчас опасно выезжать даже за город; да и в самом городе многие по вечерам боятся выходить из дома, ведь бандитизм стал нормой, об убийствах уже сообщают спокойно, как о погоде (и что за чудовищные цифры – ежегодно без вести пропадает тридцать тысяч человек?!). А всего несколько лет назад по ночным улицам ша-

стало немало полуночников: загулявших, чудаков, влюблённых; некоторые бродили до утра, и никому и в голову не приходило, что его могут ограбить. Не случайно многие теперь считают, что уж лучше жить при безопасной диктатуре, чем при бандитской «свободной демократии».

Теперь без отметки в паспорте уже не навестишь друга на Украине; без приглашения не съездить в Прибалтику. Хотя о чём я?! И ехать-то не на что – билеты взвинтили запредельно, нашей пенсии хватит только в одну сторону. Так что наша ностальгия по великой стране – не только тёплые воспоминания, но и боль, огромная боль.

Никуда не деться от факта: в советское время студенты получали бесплатное образование; на каждом шагу были библиотеки, вечерние курсы иностранных языков, спортивные общества. Все, кому не лень, могли летом шабашничать – подрабатывать на свежем воздухе в стройотрядах, а зимой, во время каникул, отправиться в агитпоход с концертами для сельских жителей.

При каждом заводе был клуб (а то и Дворец культуры) и студии самодеятельности, где разновозрастные рабочие и служащие постигали основы искусств и часто занимались с большим рвением, чем некоторые профессионалы (подтверждая слова Гоголя, что «у русского народа силен гений восприимчивости»). Именно из самодеятельности вышло немало знаменитых певцов и актёров.

И непременно при заводах был спортзал (а то и стадион)

и, само собой, команды по многим видам спорта, причём команды не только из спортсменов-разрядников, но и из любителей – пожалуйста, отводи душу, сколько хватит сил.

Где, в какой стране были не элитные, а общедоступные аэро-клубы, яхт-клубы, авто- и мото-клубы?! И самые массовые – клубы туристов? В этих последних любой мог взять напрокат байдарку, палатку, снаряжение; ну и, конечно, сколотить компанию единомышленников, иногда через объявления: «Двое молодых людей ищут попутчиков на конный маршрут по Башкирии. Условие: покладистый характер и чувство юмора». Или: «Весёлые симпатичные девушки присоединятся к группе, идущей по Кавказу. Умеем готовить, рисовать, петь...» От вокзалов отходили целые туристические «поезда здоровья», и в каждой области имелись турбазы, где опять-таки основным был тот товарищеский дух, который мы ощущали в пионерстве. И всё это было настолько естественным, привычным, что мы, дуралеи, не ценили, и только теперь поняли, что потеряли. Да, только теперь.

Можно вспомнить много прекрасного в нашей молодости, но, пожалуй, самым прекрасным были романтические знакомства. Давно известно, красивых женщин в нашем отечестве хоть пруд пруди – в чём в чём, а здесь мы всегда держали первенство в мире, и, если ты молод, попробуй устоять от этого ежедневного парада! В наше время уже отбросили всякие условности – знакомились не только на выставках и в театрах, но и на улицах, в метро... От случайных встреч, ми-

молётных влюблённостей голова шла кругом, они остались в памяти как светлые, цветущие деньки – «лазоревые», как говорит художник Дмитриук.

Уже не вспомнить всех, в кого влюблялись по уши, остались только многообещающие взгляды, смутные улыбки, сбивчивые слова. В те годы весь воздух был пропитан флиртом, и мы неумоимо крутили романы. Знакомились легко, благо не было никаких расслоений в обществе и ещё ценились твои личные качества, а не то, что ты имеешь; одежда, деньги не имели существенного значения, и нашим подругам было достаточно просто гулять по улицам, смотреть фильмы, пить кофе в какой-нибудь забегаловке. Это теперь девицам подавай ресторан, «мерседес», теперь они отворачиваются от всяких безденежных, неудачников, а на литераторов смотрят как на чокнутых. Так что в отношении романтических приключений нам невероятно повезло.

Понятно, мы не только гуляли по улицам и пили не только кофе – случалось всякое. Некоторые пуритане видели в нас «прожигателей жизни», но в сравнении с теперешней, в массе своей циничной и развращённой молодёжью мы выглядели всего лишь любителями приключений. Как ни крути, а всё-таки есть грань между влюблённостью и распущенностью, любвеобилием и развратом. Есть, и немалая. Уж не говоря о том, что чрезмерная свобода отношений меркнет перед романтической целомудренной любовью.

Теперь ведь молодёжная массовая культура сводится к

дискотекам с диким психозом, наркоте и видакам, где сплошной секс и насилие. Всякие шоу и клипы преподносятся как новое искусство, но подобная массовая культура никогда не станет искусством, ведь она рассчитана на низкопробный вкус и её девиз: «Товар – рынок». Дельцы на телевидении и в издательствах так и говорят: «Мы раскручиваем то, что нужно рынку, что «в формате», что можно продать и не быть внакладе».

Сейчас молодые люди обезьянничают – хотят стать западниками и ради этого готовы поменять родной язык на английский (не понимают, балбесы, что ценность нации и каждого в отдельности – в своеобразности, неповторимости). Они виляют хвостом, лакействуют перед иностранцами, на чистом забывая, что такое гордость и честь (Америка им представляется раем, откуда льётся золотой дождь в виде рока, джинсов, «кадиллаков»). В своей среде молодёжь обходится минимумом слов – чего перегружать голову! – «полный отстой, крутой прикид, прикольно, тухло, будь отвязанным, продвинутым» – и это жаргон студентов, а рабочие парни и девчонки изъясняются только матом; у них мат – бравада, некое проявление свободы, они лепят его в каждой фразе, лепят, никого не стесняясь.

А мы в их возрасте стеснялись крепких ругательств. Теперь-то в старости, ясно, не обходимся без грубого русского сленга; но, во-первых, переживите с наше; а, во-вторых, попробуй не материться, когда на твоих глазах преступная

власть разваливает и нагло разворовывает страну; в-третьих, литераторам надоедает борьба со словами за столом; для нас мат – ёмкое выражение нескольких понятий, да и вворачиваем его только к месту. Но, признаюсь, теперь, от повсеместного употребления, мат уже надоел (всякие Ю. Алешковские, Вик. Ерофеевы, Сорокины используют его даже как литературный приём, который, естественно, вызывает протест). Теперь, наоборот, тянет к чистому русскому языку, к языку наших великих классиков (не случайно же классика в переводе с греческого – совершенство).

Как известно, книги развивают способности (особенно воображение), а телевидение его убивает; «ящик» навязывает своё, не надо мыслить, получай готовые рецепты. Сейчас телевидение – самое большое зло в стране, мощное оружие одурачивания людей. С экранов телевизоров идёт ежедневная, проплаченная сионистами обработка населения – попросту неприкрытое издевательство над честностью, благородством, душевной чистотой. По «ящику» молодёжи вдалбливают всякую чертовню: «Оттянись со вкусом!», «Бери от жизни все!», «Лучше жевать, чем говорить!». Вот они и жуют, садятся на иглу, без лишних слов заваливаются в койку; главное для них – «круто оторваться, расколбаситься, не стать кислотным». А мы – не то что устраивали праздник, но всё-таки обыгрывали ситуацию, и не обходились без разговоров об искусстве. Не обходились, честное слово, не обходились.

В конце концов мы все переженились (одни раньше, другие позже), заимели детей. Но, как известно, любовные отношения и супружество – совершенно разные вещи. Для семьи, кроме более-менее одинакового уровня развития и общих взглядов на основные вещи, нужны покладистость, уступчивость, терпимость, а мы и не знали, что это такое. К тому же буквально через год-два стало ясно, что мы женились не на лучших представительницах слабого пола. Мы ведь рассуждали как? Женщины без недостатков прекрасны, но с ними скучно. Вот и выбрали стервочек да истеричек. И начались нервотрёпки, стычки, перешедшие в войну с оскорблениями. Да-да, в настоящую войну.

Короче, спустя несколько лет мы все, как один, вдрызг разругались с жёнами и развелись. Большинство моих друзей в одиночестве пробыли недолго и снова ринулись искать счастья в браке, дуралеи. Но трое, самых стойких и свободолюбивых, ещё долгое время оставались неженатыми. Я тоже примыкал к этой золотой компании.

Показательно вот что – при разводе мы все оставили жёнам квартиры, сами же скитались по знакомым, пока не приобрели новое жильё. А что творится сейчас? Делят не только квартиры, но и вилки, ложки – чуть ли не распиливают диваны. Умора!

Наши семейные раздоры и последующие десять лет пришлись на период, который называют «застойным». Действительно, у власти стояли далеко не интеллектуалы, за них,

квадратных уродов с протокольными рожами и канцелярским языком, мы постоянно испытывали стыд перед европейцами. (Когда они выступали, уткнувшись в написанное помощниками, вспоминался Пётр Первый, который запретил говорить по бумажке – «чтобы дурь каждого была видна».) Чиновничество доходило до маразма, просто тошнило от стадного единогласия и всяких торжеств, орденов и премий, которые сыпались, как звездопад. Немало людей еле сводило концы с концами, но всё же – и это особенно важно – не было никаких беспризорников, бомжей и нищих, которые теперь заполонили улицы городов. Не было, хоть убейте, не было!

Насчёт того, что в искусстве многих зажимали, надо признать: в основном зажимали откровенных антисоветчиков с их злобными произведениями и блатную романтику бардов, которые хрипели под Армстронга, ну и группу художников-неформалов с их, в сущности, разрушительной живописью (теперь, во времена «свободы», ясно, какое искусство они хотели иметь). А большинство, если и чувствовало зажимы, то, как правило, в мелочах; некоторые, вполне честные мастера, и вовсе их не чувствовали. Ну не случайно же было создано столько выдающихся произведений?! (Где они сейчас? Где то, что лежало в «столе»? Ничего не появилось!)

Многие таланты (не дутые, не конъюнктурщики и не обязательно партийные) в те времена вообще жили припеваючи – выпускали всё, что хотели, и получали по заслугам – всем

известны роскошные дачные посёлки художников, писателей, композиторов, актёров. Некоторые поэты (Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Ахмадулина) выступали в самых престижных залах и на стадионах; вечера поэзии собирали толпы – люди протискивались сквозь кордоны милиции (эти трудности только подогревали толпу). Те же поэты катались и по границам; (поговаривают, они сотрудничали с КГБ, на что есть некоторые основания) и тогда всячески свидетельствовали свою лояльность к власти.

– Я не могу жить без коммунизма, – и такие вещи говорил Вознесенский (со слов художника Б. Жутовского).

А теперь он плюёт на прошлое, а Окуджава с Ахмадулиной и прочие «демократы» пишут президенту: «Раздавите гадину!» (имея в виду патриотов). Окуджава даже заявил: «Я с наслаждением смотрел расстрел парламента» (!). По словам прокурора Казанника, писатели «демократы» брались к нему со списком коммунистов, которых следовало... расстрелять! (Показали свою «либеральную» суть.)

И Евтушенко немало сделал реверансов власти, а теперь говорит:

– Это я разрушил социализм (со слов поэта Е. Рейна).

Разрушил не разрушил, но руку приложил (известно, что именно литераторы расшатывали систему).

И Р. Казакова читала стихи на празднествах у Мавзолея, за что получала ордена, а теперь объявляет:

– Я жила в дерьмовом Союзе.

А уж о театральных деятелях – членах партии и говорить нечего – кое-кто из них получил чуть ли не в собственность целые театры (Сац, Дурова, Ефремов, Гончаров, Любимов, Захаров). Флейтист музыкального театра, мой приятель Алексей Виноградов, сам будучи евреем, с отвращением рассказывал, как их директриса Сац пробивала себе театр:

– Подняла на ноги всех евреев в Союзе композиторов: «Будете писать музыку к моим спектаклям, получать хорошие деньги» (такой «снабженческий талант», как говорит о подобной изворотливости актёр Л. Филатов).

Ну и само собой, через райком партии получила. Так же, благодаря партии, заимели театры Захаров и Дурова (эта дамочка на премьере пьесы Мазнина обнимала и целовала партийных чиновников). Да и все остальные таким же макаром стали театральными вождями.

Между тем насильно в партию никого не загоняли, и эти деятели вступили в неё для карьеры; некоторые даже стали безбожниками и громче всех превозносили социализм. Они пресмыкались перед партийными чиновниками, но за пазухой всегда держали камень. Теперь-то они перекрасились (некоторые нацепили кресты) и особенно рьяно поливают бывшую власть, называя СССР «тюрьмой народов», а советских людей презрительно «совками»; некоторые (Захаров) перед телекамерами устраивают дешёвую показуху – сжигают партбилеты. Можно предположить – если к власти при-

дут фашисты, они будут носить свастику. Кажется, это называется «политической проституцией». Такие люди напоминают тех, кто объясняется в любви женщине, а, переспав с ней, честит её последними словами.

Конечно, в разной степени, но давление партии ощущали не только работники искусств (например, моего отца за тридцать лет работы на заводе так и не повысили в должности, потому что он не вступил в партию, а мне в райкоме отказали в поездке во Францию, несмотря на приглашение от художника Стацинского), но, с другой стороны, каждый в том же райкоме мог найти поддержку. Сейчас и пожаловаться некому, сейчас у людей чувство потерянности, ненужности; люди лишены возможности высказаться, защититься.

Кстати, на местном уровне парторги мало чем отличались от простых работяг; это только крупные чиновники, развращённые властью, погрязли в привилегиях, но в сравнении с тем, что имеют теперешние вожди, эти привилегии кажутся пустяками, и рядом с дворцами новых властей дачи партийцев выглядят сараями. Теперешние слуги народа живут в сотни (если не в тысячи) раз лучше самого народа. Ко всему, при коммунистах был партконтроль, и начальники его побаивались. Теперь же власть полностью бесконтрольна. Ну и главное – кто бы из коммунистов ни стоял у власти, он всё-таки думал о стране, теперешние власти думают только о своём кармане. Только о нём, и ещё как!

Бесспорно, кое-что надо было перестраивать – никто не

хочет жить в унижительной системе запретов, стоять в очередях за элементарными вещами, прорываться на закрытые просмотры фильмов и так далее. Только перестраивать, а не крушить посредством преступного «Беловежского заговора» по рецептам заокеанских спецов – ломать-то не строить. (Мы хотели, чтобы система стала более человеческой, а диссиденты стремились разрушить весь Союз. «Прораб перестройки» А. Яковлев так и сказал: «Я всю жизнь мечтал развалить страну».)

Каждому нормальному человеку ясно – реформы надо было проводить мягко, под контролем государства, с ужесточением ответственности за тайные сделки, взятки и прочие преступления. А самозванцы ельцинисты сразу разрушили плотину, и началось наводнение; кто-то выплыл, кто-то утонул, кто-то ещё барахтается. Они руководствовались только одним – ненавистью к России, такой же осатанелой, какая была у Ленина с Троцким и их сионистской банды. (Чего стоит один только план «превратить мировую войну в гражданскую», натравить красных на белых и заявление Ленина: «Россия сгорит, ну и чёрт с ней»? А их разрушение храмов и уничтожение православия? А расстрел Троцким казачества целыми семьями, и женщин, и детей?! А подавление Тухачевским восстания тамбовских крестьян?! Не случайно Черчилль сказал: «Революцию в России делали подонки».)

И так же, как большевики, ельцинисты первым делом обогатились – открыли за рубежом личные счета, куда перека-

чали наворованные деньги, купили там виллы, яхты. Между тем «мрачный тиран» Сталин прежде всего думал о целостности и могуществе страны – это нельзя не признать. И как бы «демократы» ни обливали грязью сталинскую эпоху, потрясающие успехи того времени не зачеркнуть. Сталин предвидел будущее: «На мою могилу наметут много сора, но ветер истории его развеет». Так и случилось, сейчас о нём всё чаще вспоминают.

Говорить о «демократах» противно – достаточно посмотреть на них, и станет ясно, кто они есть, – у них всё написано на физиономиях; они пропитаны злобой к России, и понятно, в своём мстительном угаре не остановятся ни перед чем. Совершенно очевидно, «демократы» – пятая колонна в нашей стране, попросту внутренние враги, которых сами американцы называют «агентами демократических перемен» и снабжают их деньгами (по данным американского политолога Манфола, только СПС получила пятьдесят восемь миллионов долларов).

И понятно, все «демократы» готовы в любой момент дунуть на запад; не зря многие имеют второе, израильское, гражданство (в том числе – ельцинисты члены правительства, – их фамилии можно перечислять только с брезгливостью) и хвастливо заявляют, что «билеты уже в кармане» (Шохин), и своих отпрысков они давно отправили за границу (со смехотворными объяснениями Матвиенко и Явлинского), и наверняка их отпрыски не вернутся в Россию, ведь

патриотами бывают только те, кто вместе со страной переживает все её беды, а власть, дети которой живут за границей, не будет и заботиться об «этой» стране. Не будет, как пить дать не будет. Факт остаётся фактом, «демократы» долго и планомерно разрушали Россию; и теперь, когда они добились своего, когда победили, так и хочется их спросить: теперь вы, негодяи, довольны результатом своей деятельности? И вспоминается Достоевский: «Проблема России в том, что русские либералы – не русские». И ещё: «Основная черта русских либералов – ненависть к своему народу».

При социализме было много нелепостей: спецмагазины «Берёзки», для поездки за границу требовались подписи «треугольника», не разрешалось издавать больше одной книги в год и печатать рукопись более восьми экземпляров, работать по совместительству, строить утеплённые дачи, менять автомашину раньше пятилетнего срока, два раза в год выезжать за границу, встречаться с иностранцами; и был закон о тунеядстве, по которому преследовали художников и писателей – не членов творческих союзов (меня не раз таскали в милицию и выдавали «приписки» о выезде из Москвы), и масса других примеров идиотизма властей, но при всём при том была крепкая социальная защита, надёжность, а «застойные» годы оказались самыми благополучными в истории нашего Отечества. Не было никаких потрясений и национальной вражды, люди бесплатно получали квартиры; и образование, и поликлиники, и больницы были бесплатными

(сейчас, когда нас прищучили болезни, когда лекарства стоят баснословных сумм, мы в полной мере оценили прежнее здравоохранение).

Вообще немало делалось, чтобы народ вёл здоровый образ жизни. Передачи по радио начинались с утренней гимнастики под музыку, в обед – производственная разминка; любой рабочий и служащий мог даром получить путёвку в дом отдыха, а если заболел – в санаторий, и большинство этих здравниц были первоклассными, а те, что в курортной зоне, и вовсе напоминали апартаменты королей, это уж точно.

Я вспоминаю спартакиады народов СССР, всесоюзные соревнования подростков «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»; в каждом дворе была хоккейная коробка, волейбольная площадка. Мы были ведущей спортивной державой. Да что там! Не только спортивной, но и ведущей в искусстве, в военной технике, в научных достижениях – взять хотя бы самые мощные в мире ракеты, самые большие атомные ледоколы и подводные лодки, самолёты «Руслан», суда на воздушной подушке...

У нас был огромный торговый флот. (Сейчас его распродали за бесценок; некоторые суда продавали по доллару за штуку, как металлолом! Понятно, кое-кто на этом погрел руки.) Мы имели самые большие в мире рыболовецкие флотилии, и магазины были завалены дешёвой треской, хеком (сейчас эти дары моря продают по заоблачным ценам).

У нас была хорошо отлаженная госслужба охраны лесов

(сейчас на Дальнем Востоке всякие частные фирмы ради наживы спиливают реликтовые кедры, а в центральных районах поддачи новых русских безнаказанно вырубают сосновые боры).

Наши самые мощные в мире гидростанции также принадлежали государству, и за электричество мы платили копейки (сейчас ведомство Чубайса подняло цены неимоверно и по своей прихоти отключает свет и тепло даже в больницах и детских садах). Подобных чудовищных примеров можно привести сотни. Собственно, уже многие (в том числе и западники) признают, что развал и разворовывание нашей страны – величайшее преступление двадцатого века. Величайшее!

Я вновь вспоминаю... какими многолюдными были кинофестивали, когда на площадях и у кинотеатров возбужденные группы людей обменивались билетами; смотрели по два фильма сразу! Повторюсь, вечера поэзии, спектакли и концерты собирали полные залы. И мы были самой грамотной и читающей нацией – в транспорте все сидели с книгами (сейчас с эротическими журналами, в лучшем случае – с детективами), – именно поэтому, несмотря на невысокий жизненный уровень, мы считались духовной, гуманитарной, культурной страной, а ведь культура не что иное, как душа народа, именно душа.

В те годы во дворах не было никаких дурацких «ракушек», не слышались хулиганские разрывы петард – соседи

играли в шашки, домино, шахматы. Но главным – опять нажму на это – было отношение людей друг к другу: заходи в любой дом, тебя встретят по-дружески, угостят последним, а уж сигаретами и выпивкой делились с первым встречным. (Только в России приходят в гости без приглашения. Наша доброжелательность и щедрость всегда поражала иностранцев.)

Что и говорить, у нас была великая, могучая страна! Нас побаивались, но и уважали. А теперь, когда «демократы» всё развалили, разграбили и мы по всем показателям откатились на последние места, с нами никто не считается, о нас попросту вытирают ноги. Раньше мы всё-таки догоняли Америку, самую богатую страну в мире, а теперь – Португалию), беднейшую из европейских стран. Такие дела.

Будучи молодыми, мы часто ругали социализм, но теперь, чем дальше отдаляется то время, тем отчётливей в нём высвечивается положительное. Теперь уже точно можно сказать – хорошего было гораздо больше, чем плохого. А сейчас отвратительно всё. Ну, почти всё.

Некоторые скажут: старикам всегда прошлое кажется лучше настоящего, ведь тогда они были молодыми. Так-то оно так, но от фактов не отмахнуться. Да, сейчас в магазинах тьма товаров, но большинству населения даже продукты не по карману. Да, построили роскошные многоэтажки, но кто может купить квартиру за десятки тысяч долларов? Да, за городом видны немыслимые богатства – целые посёлки особ-

няков и дворцов с башнями и каменными оградами, но в них – сплошь проворовавшиеся новые русские. Да, на улицах полно «мерседесов» и джипов, но из десяти таких иномарок в девяти сидят преступники. Да, можно ездить за границу куда хочешь, но кто ездит, кто отдыхает на Багамах и Канарах? «Жизнь превратилась в гигантскую дискотеку, где шаманит рыночная экономика», – сказал Айтматов.

«Демократы» кричат о правах человека, защищая воров и бандитов, но не говорят о правах их жертв (отменили смертную казнь даже для убийц десятков детей). Такой ложный, преступный гуманизм. А свобода слова, о которой они молят, – враньё: эта свобода однобокая, выборочная, для одних – тех, кто устроил переворот; газеты и радио извергают сплошную ложь – стараясь перещеголять друг друга, всякие русофобы с садистским наслаждением глумятся, издеваются над народом (количество оскорблений уже и не сосчитать), разносят все предыдущие годы и замалчивают выдающиеся достижения, как будто у страны и не было великого прошлого. Ну не негодяи?!

Можно с полным правом сказать: «демократы» ведут против России настоящую психологическую войну. Уничтожены народные промыслы (Жостово, Федоскино, Палех, вологодские кружева), вместо них выпускают откровенно эротические подделки. В Третьяковке живопись советского периода заменяют на авангард, разрушили «Мультфильм», ликвидировали птичий рынок, «Горбушку» – колоритные тол-

кучки, где общались любители животных, музыки.

На телевидении закрыли литературно-художественные передачи: «Народное творчество», «Это вы можете», «Белая ворона», «А ну-ка, девушки!», не показывают казачий хор, «Берёзку», хор Пятницкого, но с утра до вечера запускают боевики – показывают, как можно ненавидеть друг друга и все способы убийств; и всякие мерзкие шоу, где можно «легко выиграть миллион», всякие развлечения – «Угадай букву», «За стеклом» – и античеловечные игры «Алчность», «Последний герой», «Слабое звено», где учат предавать, совершать подлости; афишируют пошлую, циничную эстраду и тусовки «соломонова племени» – «Гавань», «Попугай», «Старая квартира», «Наш дом»; крутят порнографические ролики на фоне Эрмитажа(!), а как ориентиры – обжорство новых русских в ресторанах, их отдых на Канарах.

Делается всё, чтобы молодёжь забросила книги и спорт, забыла историю своей страны. В учебниках на деньги Сороса убирается всё русское – Некрасова, Есенина, Б. Житкова, замалчиваются подвиги Суворова, Ушакова; закрыли кафедры русской истории в Петербургском университете и русской музыки в консерватории. Зам. Лужкова Мень говорит: «Нельзя слишком пропагандировать православие».

«Правозащитник» Ковалёв идёт ещё дальше: «Русское православие – это вообще антихристианская секта». Ему вторит священник Якунин: «Православие – база для антисемитизма и фашизма». (И почему патриарх держит такого

«бабушку»? И почему не замечает забастовок рабочих, но наградил орденами Ельцина и Швыдкого.)

А вот высказывания писателей «демократов»: «Надо лет на пятьдесят забыть слово «патриотизм» (Приставкин). «Больше всего меня пугают уроки патриотизма», «Набоков и Чехов – это пошлость» (Бунимович). «Лев Толстой – антирусский писатель» (Быков). «Бунин – дерьмо» (А. Парнис). И всё это открыто, напористо. А Чубайс говорит: «Нам не хватает наглости». Куда уж больше!

Сейчас молодёжь призывают заколачивать деньги и «развлекаться так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы» (СТС). Ведущий программы «Моя семья» Комиссаров открыто выступает за порнографию и секс на телевидении. И академик Познер не против мата в средствах массовой информации.

Раньше по телевидению призывали идти по жизни «с песней», теперь – «с пивом», раньше желали счастья, любви, теперь, с откровенным бесстыдством, – «побольше вам денег!». «Россия превратилась в помойку западной культуры», – сказал дирижёр Темирканов. Что верно то верно, это и последнему дураку ясно.

О чём говорить, если министр культуры Швыдкой выступает в роли главного душителя всего русского в искусстве. (Изгнал выдающихся русских: Светланова, Васильева, Головкину, Овчинникова, Плетнёва, измывается над Волочковой; на сцене Большого театра ставит пошлого Сорокина!

А для своего министерства купил за миллион рублей «Чёрный квадрат»!) Этот министр ведёт одну из самых омерзительных передач, где сионисты всех мастей, издеваясь над зрителями, смакуют темы: «Секс как двигатель в культуре», «Мат как норма в искусстве», «Пушкин устарел», «Русский фашизм страшнее немецкого» – и вся эта мерзость на фоне резиновых идиолов, и где? В доме Пушкина!

На передачу приглашают и русских (одного на десять «своих») и, как правило, устраивают им судилище. Ничтожества! Они победили Россию и теперь пинают и топчут её, устраивают пляски на могилах своих жертв. Невыносимо это видеть! Хорошо сказала актриса Андрейченко на одной из таких передач: «Всё это психотропное оружие. Никогда еще зло так не торжествовало у человечества». А философ Зиновьев всё это называл «ублюдочной культурой». Точнее не скажешь. Ясно, такая тошнотворная «культура», как ржавчина, разъедает души людей, и она не случайность, а чётко спланированное разложение общества, ведь, чтобы безнаказанно грабить народ, надо создать среду безнравственности и насилия.

Ну разве случайность – крошечное меньшинство населения одной национальности захватило все ключевые должности в правительстве, все банки, газеты, телевидение; такое впечатление, что страна находится под оккупацией, или что мы живём в Израиле. Собственно, «демократы» и сами это подтверждают. Березовский открыто заявил в Израиле: «Во-

семьдесят процентов финансов России уже в наших руках». Немцов и вовсе выдал сенсационное: «Если не будет нас (евреев), ничего в России не будет». Эту же яркую мысль повторил и расширил Ян Рабинович: «Без евреев Россия просто не могла бы существовать!!). Поскольку сейчас русские пассивны, а евреи активны, коренной нацией России надо считать евреев». Ну и куда уж дальше! – сам премьер Гайдар все расставил по местам:

– Россия как государство русских не имеет будущего.

Естественно, подобные высказывания ничего, кроме возмущения, у русских вызвать не могут. И нормально ли: ежедневно по телевидению десятки раз показывают самую маленькую страну, но даже не упоминают огромные страны – Китай, Индию, Бразилию?

Сейчас телевидение постоянно внушает, что русские – «совки», а их любовь к родине «квасной патриотизм». И вообще русские – лентяи, дураки, пьяницы, воры, не умеют работать... Но кто создал могучее государство, кто дал миру великое искусство?

Сейчас увидеть по телевизору русский пейзаж, услышать русскую песню – да что там! – просто увидеть хорошее русское лицо (если и покажут, то бомжа) – словно глоток свежего воздуха. К слову, теперешнее засилье на экране нерусских, очернение и осмеивание всего русского, помогло мне сильнее полюбить Россию. И надо основательно постараться, чтобы такие, как я, который никогда не разделял людей

по национальности, пересмотрели свои взгляды. Оказалось, национальные особенности не только отличают людей друг от друга, но и часто несовместимы.

Конечно, всегда были евреи, пропитавшиеся русской культурой (Левитан, Дунаевский, Утёсов), и сейчас есть (Зельдин, Быстрицкая, Золотусский, Э. Тополь); наверняка они испытывают стыд за соплеменников у власти, но стоит этим правдолюбам подать голос, как раздаются окрики «своих». Э. Тополь сказал: «В России есть фашизм, но не русский, а еврейской буржуазии» – соплеменники на него окрысились. Ю. Мориц сказала: «Все евреи уехали, остались одни жида» и выступила против «демократов» – ей тоже досталось. Среди моих приятелей есть несколько достойных интеллигентных евреев, которые презирают «демократов» и открыто, безбоязненно ругают власть. Одному из них, доктору философии Вадиму Межуеву, я недавно сказал:

– Знаешь, только сейчас, под старость, я понял – негодяев гораздо больше, чем я думал.

– Ха! – вскричал мой друг. – Я всегда тебе об этом говорил!

Именно Межуев назвал «демократов» у власти «проходимцами» и «подонками» и добавил, что самой большой ошибкой Горбачёва была отмена шестой статьи Конституции, после чего и началось разрушение страны.

Недавно в ЦДЛ я встретил старого приятеля, активного «демократа» Юрия Корякина. Мы выпили, и я спросил:

– Ну как тебе то, что натворили твои «демократы»? Он только покачал головой.

Наши отцы и матери делили свою жизнь на – до войны и после войны, мы делим на – до перестройки и после неё. Нашему поколению повезло: мы стали не только свидетелями смены эпох, но и прожили и при социализме, и при капитализме, были участниками и той, и этой жизни, так что можем сравнивать системы, и, признаюсь, в этом очерке мною движет не столько любовь к социализму, сколько ненависть к бандитскому капитализму «демократов» (я не против богатых людей, но тех, кто добился богатства трудом и талантом, а не аферами и воровством).

Конечно, мы не думали, что доживём до краха социализма, и, когда в конце восьмидесятых Горбачёв затеял перестройку, мы, пятидесятилетнее дурачье, её осторожно, но всё-таки приветствовали – ещё бы! – каждый чувствовал причастность к историческому моменту. И первые шаги новых властей обнадеживали – действительно, появилась свобода слова. В те дни многие из нашего поколения даже растерялись. Это и понятно, ведь если лошадь, всю жизнь проработавшую в шахте, вывести на свет, она ослепнет. И понятно, всё надо получать вовремя, – свободу мы получили запоздало.

И всё же мы думали, что перестройка приведёт к лучшему: отменят прописку, и каждый сможет жить, где хочет; каждый получит достойную зарплату и, наконец, сможет по-

бывать за границей, посмотреть мир; что разрешат частное предпринимательство, но в разумных пределах (от мастерских и кафе до небольших магазинов), без собственности на гигантские заводы, нефтепроводы, энергосистему, телевидение, тем более на природные богатства: леса, луга, озёра (об этом ещё Л. Толстой писал Столыпину). И, конечно, думали, что все преобразования пойдут под строгим контролем государства. Только так.

Ну и, само собой, мы надеялись, что отменят всякие привилегии и на госслужбу придут умные и честные люди, а таких немало в нашем отечестве, немало, это известно каждому.

Что касается искусства, мы были уверены – с перестройкой из небытия появится множество первоклассных произведений, а ничего нового не увидели (напрашивался вывод: стоящие вещи и создаются в тяжелых условиях – срabатывает эффект сопротивляемости материала).

В дальнейшем те, кто подвывал власти, получили зелёную улицу, а патриотов оттеснили на обочину. Теперь уже совершенно очевидно, что за все годы «демократии» не создано ни одного по-настоящему ценного произведения. И вообще, я не знаю ни одного талантливого и честного русского человека, который поддержал бы «реформы», за «демократов» выступают одни подлецы.

Ну а безмозглая молодёжь в торопливое перестроечное время, при разнузданной свободе без ограничений,

естественно, ликовала, прямо захлёбывалась вседозволенностью. Как поганки после дождя, множились безвкусные картинки и корявые стихи на Арбате – «улице свободы», кафе заполняли гитаристы, длинноволосые ребята играли три ноты и завывали кастратами. Нам-то, старомодным, привязанным к классике, к вещам, проверенным временем, было ясно: весь этот эпатаж – желание удивить – от творческого бессилия, самообман, местами просто шарлатанство. У этих ребят был в моде андеграунд – некий синтез искусств. Точно бабочки, у которых нарушен генетический код, они дурачились, ломали традиции, отрешивались от учителей. Мы посмеивались: пусть себе делают что хотят, запрещать ничего не надо, хватит всяких запретов; но вот вопрос – куда они идут с таким багажом ценностей?! Их работы в лучшем случае вызывали недоумение.

Справедливости ради надо отметить – среди уличных художников и музыкантов попадались профессионалы, но таких были единицы. Повторюсь, мы против всяких запретов в искусстве, но в массовой культуре без фильтров не обойтись (Пушкин, как известно, выступал за строгую нравственную цензуру); все европейские страны имеют советы, наблюдающие за нравственностью, а у нас вседозволенность привела к невиданному разгулу «ублюдочности».

Ну а потом произошёл переворот, и беловежские заговорщики скинули Горбачёва. Власть захватили образованные, циничные и наглые негодяи, объявившие себя «демократа-

ми». Они выдвинули вперёд бывшего секретаря обкома, властолюбивого алкоголика, и за его спиной начали разрушительные «реформы» (как известно, умное зло опасней глупого, и негодяи не могут иметь благородных целей).

Прежде всего они объявили независимость России – от кого? От самой себя? Один из заговорщиков (Бурбулис) пояснил: от «Советского тоталитарного государства» – надо понимать, от своей истории. Затем «демократы» обвалили рубль (предварительно обменяв свои деньги на валюту) и провели «прихватизацию»; в одночасье группа мерзавцев, скупив за бесценок акции предприятий, стала миллионерами, а всё население без гроша за душой. Произошло величайшее ограбление века! Такого в истории ещё не было, не было! (Позднее олигарх Ходорковский признался: «Если бы у нас было государство, меня давно поставили бы к стенке».)

Понятно, «реформы» проводились по плану американцев. (Директор ЦРУ заявил: «От Горбачева мы взяли всё, что нужно. Теперь нам(!) нужен Ельцин, он развалит Советский Союз». И не случайно проводить реформы из Америки приехали «специалисты», а «демократ» Попов ежедневно звонил в американское посольство и докладывал о проделанной работе.) Сейчас об этом открыто пишут в газетах, даже называют суммы, которые заработали «учителя». (Позднее в самой Америке на этих «наставников» завели уголовные дела – оказалось, они не только управляли «реформами», но и неплохо погрели руки в нашей стране, занимаясь бизнесом.)

Пиком деятельности «демократов» стал расстрел парламента (на что западные демократии закрыли глаза!).

Ну а дальше всё пошло по накатанной. Ельцинисты не думали о стране, народе, они дрались за власть и делили собственность – то, что создавали многие поколения нашего народа; они открыто кромсали и разворовывали, всячески выказывая презрение к нашей стране («этой», как они называют, повторяя Троцкого, или уж совсем подло – «страной происхождения», как выдавала Т. Толстая, а себя считают «людьми мира» и «внутренними эмигрантами», на самом деле являются внутренними врагами). Вот их заявления: «Россия способна плодить только рабов» (Афанасьев). «Россия – это страна с выродившимся народом, с ним можно творить всё, что угодно» (Естафьев). «Этот народ (русские) заслуживает только презрения» (Новодворская). «Тупой народ» (Т. Толстая). «Недавно ходил в народ, потом долго отмывался» (Шендерович). Крестоносцы русофобии! Людоеды! – по-другому их не назовёшь.

В. Розов сказал: «Произошла контрреволюция. Свобода вылилась в жажду наживы. То, что произошло, нужно было вора́м, а для всего нашего народа – это большое несчастье».

В те чёрные дни «реформаторы» срывали знамёна, рушили памятники, на месте детских садов и библиотек устраивали торговые точки с привозным спиртом «Роял» и разными «сникерсами»; на месте дешёвых столовых и кафе открывали дорогие рестораны; закрывали уникальные научные лабо-

ратории, на фермах забивали редчайшие породы животных (на месте ферм новые русские строили коттеджи). И со всех углов рьяно, с остервенением оплёвывали прошлое (за это получали от американских сионистов немалые деньги). «В этом (советском) обществе было два института – это тюрьма и армия», – говорил В. Аксёнов. Ну а дальнейшую судьбу нашей страны определил Кох: «Россия – лишняя страна на глобальном рынке, ей ничто не поможет, у неё нет будущего. У неё нет никакого другого пути, как быть нефтяной трубой для цивилизованного Запада».

Новая власть устраивала банкротство гигантских предприятий и раздавала их «своим»; посредством тёмных махинаций грабила и без того нищий народ, цинично заявляя, что «в России должно остаться пятьдесят миллионов человек» (!). И всё к тому идёт: наше население сокращается чуть ли не по миллиону в год – без войн, без эпидемий! Такого не знала история человечества (а при коммунистах был ежегодный прирост в два миллиона!).

Недавно стало известно: за последние годы в России исчезло сорок шесть тысяч деревень! Ясно, сами по себе они не могли исчезнуть – они вписываются в чёткий план развала страны. Солженицын сказал: «Ничего не осталось такого, что не было бы разгромлено или разворовано. Вот среди этих руин мы и живём».

На Западе многие, кто знал и любил Россию, были в шоке. М. Влади заявила: «Я в ужасе, я просто плачу. Целое поко-

ление брошено просто в помойку». Кто-то из западных политиков сказал: «Россия – единственная страна, где правительство ненавидит свой народ».

Вакханалия зла длится уже более десяти лет (по словам поэта Зульфикарова, «десять лет идёт избиение России недоджиями, засевшими в Кремле и вокруг него»). Слово «демократия» стало символом бандитизма, мафии, коррупции. Разумеется, нашей «демократии». Похоже, сбывается пророчество Достоевского: «Евреи погубят Россию».

Сейчас «реформаторы» лихорадочно насаждают «демократию» американского типа, идеологию потребления, но самим западникам (в том числе лучшим писателям) давно ясно, что многие западные ценности уже терпят крах, что капитализм ведёт к эгоизму, беспощадной конкуренции, жёстким отношениям между людьми. Миллиардер Гейтс недавно предельно просто всё объяснил: «Ты мой друг, но, если сообщишь мне ценное, я это использую в своих интересах, в конкурентной борьбе с тобой». Сорос говорит ещё циничнее: «Главное – зарабатывать деньги, а честно или нечестно – это неважно». Магнат Т. Тёрнер подытожил кратко: «Бизнес – это война». Ну а наше будущее сформулировал министр иностранных дел сионист Козырев: «Нашей идеологией должно быть только одно – деньги!» Вот так вот! Сказал – и точка.

Между тем идеология личного обогащения чужда большинству русских (как известно, православие выступает за

преобладание общественного над личным). Истинно русский отзывчив, у него вселенское сердоболие, ему мало самому хорошо жить – надо, чтобы и соседям, и всем в стране жилось хорошо. И вообще у нас, в России, деньги никогда не были главным. Для большинства русских, истинных патриотов. Не случайно слова «совесть», «справедливость», «воля» в своём прямом значении есть только в русском языке.

А что сейчас творится в России? Горстка негодяев владеет всеми богатствами страны. Клан нерусских олигархов сколотил миллиардное состояние, прибрал к своим рукам нефть, лесное хозяйство, порты, авиакомпании, электросистему; денежные мешки строят себе дворцы, скупают на зарубежных курортах виллы, самолёты, яхты (в то время как миллионы русских нищенствуют!). И вспоминается Суворов, который продал имение, чтобы построить форпост России в Приднестровье!

Сейчас журналисты, обслуживающие власть (естественно, почти все нерусские), и всякие топ-модели, виляющие бёдрами, получают тысячи долларов, а учёные и офицеры подрабатывают – на рынках продают сигареты и носки! Новые русские, не зная счёта деньгам, закатывают царские ужины с увеселениями – зарубежными певцами и спортсменками из синхронного плавания (те изображают русалок в аквариумах), тратят тысячи долларов на сафари в Африке, где убивают слонов и носорогов, и потом хвастаются трофеями – и в это время шахтёрам, учителям, врачам по полгода не выда-

ют зарплату! Не выдают, негодяи! Возможно ли такое в нормальной стране?! И было ли когда-нибудь такое в России?!

Ну а при планах сократить население понятно – мы, пенсионеры, для «демократов» сплошная обуза, «социальный балласт», как они говорят. «Кому суждено умереть, пусть умирают», – цинично заявили гайдаровские «реформаторы». «Если часть пенсионеров умрёт, это только оздоровит общество, и реформы пойдут быстрее», – сказала Хакамада. Идеолог А. Яковлев хамски отчеканил: «Пенсионеры не заработали пенсию» (!) Ну а главный «реформатор» Чубайс всё разложил по полкам: «В результате реформ тридцать миллионов вымрет, но нестрашно, русские бабы ещё нарожают». Вот так вот! Ну разве можно таких людей допускать к государственной службе? Понятно, эти негодяи сделают всё, чтоб мы скорее подошли, не дадут спокойно и достойно уйти из жизни. Не случайно старики завалили газеты письмами: «Верните нам Советский Союз!»; их можно понять: согласиться с теперешним подлым режимом – значит, перечеркнуть свою жизнь и махнуть рукой на будущее детей и внуков.

Сейчас до многих дошло – чтобы бороться со злом, русским надо объединяться, но этого-то «демократы» и боятся больше всего; стоит только произнести «русская национальная идея», как они кричат:

– Красно-коричневые! Фашизм! Квасной патриотизм!

Слетается вся их камарилья, и организовывается травля в печати и на телевидении. Понятно, никакого объединения

они (и их западные покровители) не допустят (кто попытался, уже сидит за решёткой). Журналист Бовин (позднее посол в Израиле) злобно изрёк: «Самое большое преступление – говорить о возрождении русского духа». Похоже, таких, как этот русофоб, бесит от одного только слова русский. Да и не похоже, а точно – вот и композитор-эмигрант Петров заявил: «Слово русский испачкано». Теперь ясно, почему из новых паспортов убрали национальность – чтобы русские забыли, кто они есть, – злой умысел очевиден.

Трагедию современной России блестяще описал итальянский журналист Джульетто Кьеза в книге «Прощай, Россия!». В конце книги он предсказывает: кто бы ни пришёл к власти после Ельцина, всех «реформаторов» будут судить. Хотелось бы в это верить, ведь, как говорил Бернард Шоу, «самое большое преступление – безнаказанность».

По теперешним меркам, когда мы превратились в страну невероятной несправедливости, разделённую пропастью на чудовищно богатых и безнадёжно нищих, когда появились сотни тысяч беженцев, а миллионы наших соотечественников оказались в ближнем зарубежье и даже не могут выбраться в Россию, мы (мои друзья и я) живём не так уж и плохо; во всяком случае, имеем крышу над головой и пенсию, правда, мизерную, чтобы только не протянуть ноги, и в этом очерке я пекусь не о себе и своих друзьях – покоя не даёт боль за наших обворованных, униженных россиян (иногда эта боль переходит в отчаяние, иногда в ярость – и в том и другом

случае сжигает остатки здоровья).

Конечно, каждое правительство делает то, что ему позволяет народ, и адское терпение россиян не вызывает восхищения; это терпение уже перешло все границы. Народ молчит, словно парализованный, – понятно, ведь столько лет его мордуют, а силы человека небеспредельны. Люди устали ото всего. (Черчилль говорил: «Если бы англичане испытали хотя бы десятую часть того, что испытали русские, они давно исчезли бы».) Старики ещё подают голос, но где молодёжь, где?!

Да, бесспорно, в массе своей русский народ, как никакой другой, простодушен, доверчив, совестлив, незлопамятен («наш добрый народ» – говорил Пушкин), он умеет терпеть и прощать (и «всегда чувствует себя виноватым» – говорил Чехов), но всему есть предел, и не постоять за себя, когда проводится антиславянский расизм, когда над нами открыто издеваются, плюют нам в лицо – по телевидению называют «неполноценными», «быдлом» (Кох, Хакамада), «свиньями», «оккупантами» (Политковская – военных, в День вооружённых сил!), «отребьем» (Новодворская), «всероссийской поганью» (А. Герман), «шпаной» (Чубайс – патриотов), устраивают выставки с надругательством над нашими символами, с осквернением икон (М. Гельман), – терпеть всё это – значит, уподобиться стаду, которое ведут на убой. Невольно встаёт вопрос – что с нами ещё надо сделать, чтобы мы взбунтовались? Хочется верить, что среди нового поколения

всё же найдутся патриоты, в которых ещё жив дух наших великих предков, которые заставят считаться с собой, дадут отпор распоясавшейся русофобской своре, мощный отпор.

Нельзя не признать, сейчас процветают не только преступники и торгаши (хотя в основном именно они), но и некоторые приспособленцы и горстка честных специалистов, которые устроились в иностранные фирмы (и тем самым тоже способствуют разорению страны.) Эти новые русские строят коттеджи, покупают джипы, но нам, «старым русским», ничего этого не надо – в гроб не возьмёшь, а наследникам такие подарки вредны – пусть всего добиваются сами. Короче, мы безразличны к дорогим, престижным вещам. Главной ценностью для нас по-прежнему является работа (к сожалению, в стол – ведь сейчас ни проза, ни поэзия издателям не нужны), ну и, само собой, встречи с друзьями, тем более что их осталось немного, совсем немного.

Известное дело, в шестьдесят лет нельзя иметь столько же друзей, сколько их имеешь в двадцать; многих отсеивает время, кое-кто отошёл от нас после тяжёлых поражений или сногшибательного успеха – понятно, и то и другое резко меняет людей. Ну и, как ни прискорбно, уже немало тех, кто отправился на небеса. Все знают, сейчас в России средняя продолжительность жизни мужчин – пятьдесят восемь лет. Нас, шестидесятилетних, можно считать долгожителями – мы перевалили этот рубеж (чем сами немало озадачены), и, конечно, теперь каждый день как подарок. Вот только по-

дарок грустноватый, ведь мы остро переживаем свою невосребованность, ненужность. Обидно: мы выпали из литературы, и никто этого не заметил – получается, всё делали зря.

Но больше всего тревожит боль за Отечество (повторяю ещё раз, ведь засыпаю и просыпаюсь с этой болью – она как огнестрельная рана). Ну а когда эта боль становится нестерпимой и уже нет сил смотреть на то, что творится вокруг, вспоминаешь великие произведения искусства, или выезжаешь на природу, или обзваниваешь друзей и договариваешься о встрече – за выпивкой мы подбадриваем друг друга: «Держись, старина!»

В конце концов, что такое мужчина шестидесяти лет? Это далеко не глубокая старость, не библейский возраст, скорее, глубокая зрелость, а для творчества самый расцвет (ведь мозги-то на месте, и в планах – залежи сюжетов), и, наконец, появилась мудрость, во всяком случае, не полыхаешь по пустякам, и болезни ещё окончательно не скрутили...

Вообще, в возрасте есть огромное преимущество: уже имеешь чёткие убеждения и называешь вещи своими именами – то есть никого из себя не изображаешь и говоришь то, что думаешь. Уже становишься терпимей, ставишь себя на место других людей (и даже животных), умеешь чувствовать за них, понимаешь их обиды и боли – другими словами, внимательней всматриваешься в то, на что раньше лишь мимоходом бросал взгляд. Уже спокойно относишься к удачам и накапливаешь достаточно стойкости, чтобы пережи-

вать неудачи. Уже судьба страны намного важнее собственной судьбы, и, главное, понимаешь: всё, что ты сделал, по большому счёту, – чепуха, что рядом с классиками ты – ничто. Короче, уверен, сейчас мы намного лучше, чем были в молодости, намного.

К сожалению, сейчас тем, кто не меняется от обстоятельств и не подстроился под новые требования, приходится туговато. Сейчас в искусстве, чтобы продолжать делать своё, надо иметь немалое мужество, ведь, повторюсь, работа идёт в стол. Тем не менее, никто не увидит нас хныкающими, сломленными, опустившимися, наше поколение крепкого сплава, у нас немалый запас прочности, и напоследок мы приберегли силёнки – словом, мы ещё в порядке, и пусть жить осталось немного, но мы ещё сделаем несколько шагов вперёд.

Ну а многолетней дружбой мы, бесспорно, можем похвастаться. Наше братство проверено временем; за прошедшие годы судьба частенько отдаляла нас, но мы не теряли друг друга из вида и оставались верны нашему клану.

«Демократы» порезвились на славу, всё изменилось, мир уже не тот, но мы, старая гвардия, не сдаёмся. Некоторые молодые люди называют нас «последними пиратами», «воинствующими мужиками», бывает, посмеиваются над тем, что мы сделали. Понятно, ведь они шагают в будущее, а мы остались в прошлом (для них – где-то во времена Александра Македонского). Мы не обижаемся. Чего обижаться? Есте-

ственно, каждое уходящее поколение забирает с собой своё пространство: свою литературу, музыку, живопись, фильмы, увлечения – новому поколению это уже не нужно, для него всё это устарело, выглядит примитивным.

Но, честно говоря, молодёжная когорта нас не очень-то интересует. Все их трепыхания смешны. У них ещё не устоявшиеся взгляды, привязанности. Пройдёт время, и им будет стыдно за многие свои слова и поступки. Потому и не стоит молодёжь воспринимать всерьёз, и нельзя ей (с её бунтарским экстремизмом) доверять ответственные должности (могут наломать дров), тем более учитывать её мнение в управлении государством. Я вообще запретил бы участвовать в выборах людям до тридцати лет, запретил бы, говорю вполне серьёзно. А после тридцати всем не мешало бы проходить тесты на политическую грамотность – тогда не будет стадных выборов и подонков кандидатов, не будет, уверен.

Теперь молодёжь относится к старикам небрежно. Год назад пришёл к стоматологу; молодая врачиха осмотрела мой зуб, поморщилась:

– У пожилых людей трудно лечить зубы. Надо удалять.

Я спрашиваю:

– Может быть, всё же подлечить, запломбировать?

– Зачем? Вам по телевидению выступать, что ли?!

Недавно поздно вечером у меня скакнуло давление до 220. Вызвал «скорую». Приехал врач-мужчина, сделал мне укол магнесии и тут же уехал. А я стал задыхаться – чув-

ствую, вот-вот совсем окочурюсь. Позвонил 03 ещё раз. Приехала молодая врачиха и отчитала меня:

– Вам сделали укол, больше ничем помочь не могу! Зачем вы ночью по два раза гоняете врачей?! У меня тоже давление!

Но в ЦДЛ молодые литераторы вроде относятся к нам уважительно (может, просто делают вид).

Ну да бог с ней, с молодёжью! Нам друг с другом интересней в сто раз, наши бурные застолья и душевные беседы многого стоят. Только иногда после них бывает одиноко – ближе к ночи, когда расстанешься с друзьями и пьяный бредёшь по улицам – вроде в сторону дома, а, в общем, наугад – куда кривая выведет. Заметишь какого-нибудь полуночника, подойдёшь потрепаться – хмыкнет, нагрубит, небось подумает: пристаёт «разноцветненький». Зайдёшь в телефонную будку, наберёшь номер какой-нибудь знакомой – отчитает за поздний звонок. Грустновато становится.

В метро по привычке (на минуту забудешь, что ты самый старый в вагоне) заведёшь разговор с симпатичной попутчицей (а теперь они все кажутся симпатичными, особенно когда выпьешь), а она скривит губы:

– Дяденька (ладно, не «дедуся»), не осложняйте мою жизнь, не вешайте на меня свои проблемы, у меня своих хватает.

А некоторые шарахаются – шарахаются, да...

Но бывает, и к тебе кто-то подойдёт, назовёт по имени, а

ты пилишься на него (или неё), никак не можешь вспомнить, кто такой (или такая), хотя лицо знакомое до жути. Потом окажется – твой сосед по дому (или соседка) или, чего доброго, кто-то из дальних родственников. Короче, временами начисто отшибает память. Хорошо, хоть себя узнаёшь в зеркало – правда, иногда с трудом.

Бывает, по пути к дому на пьяную голову придёт отличный сюжет, и ты уже уверен – завтра напишешь рассказ, но утром всё напрочь забываешь, а если и вспомнишь – сюжет окажется полной ерундой. Точно так же, даже ещё впечатляюще, приснится прекрасный сон, и там же, во сне, решаешь его записать, но, проснувшись, видишь – все краски уже обесцветились. Такие дела.

Бывает, по пути к дому приходят и печальные мысли – мол, из жизни надо уходить достойно и по возможности красиво, и уже представляешь себя Чеховым с бокалом вина, но потом гонишь эти мысли – мол, тебе ещё рановато, ещё надо кое-что сделать, да и влюбиться не помешает... в последний раз, чтоб было кому тебя оплакивать.

Мои друзья – отборные старики, стойкие консерваторы, с чёткими духовными измерениями (как известно, каждый нормальный мужчина в молодости радикал, а к старости становится консерватором); в их морщинах и лысинах, бородавках и складках есть своё величие и красота (они красиво старятся); в их спокойных, усталых глазах видна мудрость (они даже пьяные живописны); они – моя надёжная опора.

Бывает, кто-либо из них долго не звонит, наберёшь его номер, а там тишина. «И куда он, старый чёрт, делся? – думаешь. – Если уехал, мог бы и позвонить перед отъездом. А может, слёг? Или того хуже...» Весь изведёшься, пока снова не встретитесь.

Ну и, естественно, – на фоне откровенного воровства и разнузданного хамства новых русских – особенно смотрятся мои друзья, старые русские, в которых ещё живучи такие понятия, как честь, достоинство, порядочность (у некоторых в небольших количествах, но всё же живучи), ну, то есть мы сохранили чистоту наших рядов, сохранили, несмотря ни на что.

И, как это ни смешно, – мы романтики. Да-да, последние романтики, поскольку за нами идёт сплошь практичное поколение, которое умеет всё выверять, прикидывать.

И ещё смешнее – вот старичье! – иногда нам кажется, что лучшее ещё впереди, хотя всё как раз наоборот. Но я думаю, это-то и неплохо – значит, мы ещё не совсем старые, ведь по-настоящему старыми можно считать только тех, у кого уже нет мечты. А у нас она есть, ведь душа-то молодая – правда, этого никто не знает, кроме нас самих.

Самое время признаться – этот очерк я написал сразу же после своего шестидесятилетия, а спустя два-три года мы уже все стали семейными. Одни вернулись к прежним жёнам, другие встретили женщин, с которыми было кое-что общее и совместное проживание не трепало нервы. Это можно

назвать осознанной любовью, или удобным сожителем, или желанием скрасить одиночество – чем угодно, только не страхом перед старческой немощью – этого от нас никто не дожждётся, у нас чёткое правило: не вызывать чувства жалости! И, как бы болезни ни скручивали, мы просто так не сдадимся, будем бороться до конца, наш дух ничто не сломит, мы и старухе с косой погрозим кулаком. Смею вас заверить, погрозим.

Ох уж эти женщины!

(Исповедь мужского шовиниста)

В пятьдесят лет я рассуждал: ох уж эти мои дружки, закоренелые бобыли, женоненавистники, которых охватывает ужас при мысли о вступлении в брак! Старые волкодавы, пьяницы и бабники, они панически боятся потерять свободу и скорее отправятся на эшафот, чем согласятся пойти в загс. Стоит только женщине задержать на них взгляд, они уверены – это многообещающий, уводящий взгляд; красотка явно плетёт сети, заманивает в ловушку. Собственно, так оно и есть. Уж кто-кто, а я-то знаю. Здесь у меня большущий опыт – в молодости не раз терял волю от подобных обманчивых (как бы беззащитных, на самом деле колдовских) взглядов и разных обволакивающих придыханий:

– Как интересно! Расскажите ещё что-нибудь! Вы очень талантливы!

Теперь-то я сыт по горло этими хитрованскими штучками, теперь мне яснее ясного: если женщина проявляет повышенный интерес к твоей работе (делает вид, что давно её любит) или, чего доброго, справляется о здоровье твоих родных – это очень опасная женщина, от неё можно спятить.

Но главное, когда ты видишь это невероятное, прямо подающее тебя внимание (как бы неподдельное), всякие уточняющие вопросы (понятно, чтобы ты сильнее сел на крю-

чок), эти загорающиеся (злодейским блеском) и угасающие (почти сдавшиеся) глаза, этот вспухший рот (уже готовый принять поцелуи) – короче, когда ты видишь влюблённую в тебя особу, будь она хоть крокодилом, тебе, идиоту, начинает мерещиться, что ты в неё тоже втюрился. «Наконец-то, – думаешь, – встретил женщину, которая тебя оценила в полной мере. Эта будет рабыней». А она, мартышка, в тот момент смотрит на тебя с безмолвной покорностью и думает: «Всё, испёкся, голубчик! Теперь я тебя заласкаю до мурашек, заставлю оформить отношения, потом отучу от вредных привычек, разгоню твоих дружков и начну из тебя верёвки вить». Вот такие они, женщины, эти ядовитые, коварные существа.

Некоторые из них демонстрируют радостное повиновение, притворяются заботливыми, милыми, но я не верю в женщин-мышек – они просто затаились на время, потом покажут свой оскал и когти; давно известно: женщины более жестоки и мстительны, чем мужчины, ведь у них нет сдерживающих центров.

Некоторые из эмансипированных считают себя личностями: спорят, перечат, навязывают своё – попросту портят мужчине кровь. Забывают, дурёхи, что женщина прежде всего должна быть кухаркой, посудомойкой, прачкой, а уж потом чирикать об искусстве и о жизни вообще, а лучше не чирикать, а тихо ворковать, как бы делать массаж, под который можно вздремнуть. Женщине надо быть тихоней, мол-

чуньей, склонной иногда всплакнуть, но главное – знать своё место. Как говорил император Вильгельм, «знать три К», в переводе с немецкого – церковь, детей, кухню. Если она отходит от этой заповеди – она чудовище.

Говорят, они – прекрасная половина человечества, украшают жизнь и прочее. Чепуха! Не украшают, а отравляют... И вообще всё зло на земле от них, женщин. Иногда я думаю: сколько они загубили талантов, сколько из-за этой проклятой любви не состоялось личностей, совершенно жутких поступков.

Для меня давно бесспорно: всякая болтовня о любви – пустая трата времени. И грош цена мужчине, если он жертва своих страстей. Жалок подобный страдалец. И жалок тот, кто полжизни тратит в поисках «идеала» и вообще чрезмерно волочится за женщинами. Ну, можно, конечно, за ними приударить, но мужественно, без всяких слюней и заиканий, не теряя головы, ни в коем случае не унижаясь, наоборот-давая понять красотке, что, ухлёстывая за ней, оказываешь немалую милость. Женщина прежде всего ценит в мужчине уверенность в себе, ну и власть над ней; остальное – дело десятое. Без власти ничего не получится – подомнёт под себя, растопчет.

Некоторые не признают власти над собой – такие идут против природы и, как правило, несчастны в личной жизни, а то и кукуют в одиночестве. Некоторые корчат из себя недосягаемых небожительниц, подолгу водят за нос мужчину, а

когда сдаются, моментально превращаются в жалкое, беспомощное создание – то есть обратно – из царевны в лягушку. Ответственно заявляю: нет недоступных женщин, к каждой можно подобрать ключ, всё зависит от настойчивости мужчины.

И насчёт преданности женщин больше легенд, чем правды. Опытный мужчина, играя в любовь (или не играя), добьётся своего, завоюет самую верную, неприступную женщину; дождётся, когда она поссорится с мужем, пригласит в кафе «просто поболтать», за вином утешит, пригласит к себе «послушать музыку», в интимной обстановке по-дружески обнимет и плавно переведёт дружеские объятия в сексуальные – женщина расслабится, забудет про всякую верность, в ней победит самка.

Да что там говорить! Немало женщин и в порядке мести способно наставить мужу рога. И не только за его случайную измену, которая для мужчины ничего не значит, но и за невнимание, небрежность (по их понятиям), а то и просто для самоутверждения. Они, эгоистки, не понимают, что подобными поступками не мужу дают пощёчину, а самим себе.

Теперь-то при слове любовь у меня сразу начинает болеть живот и я ненавижу себя за то, что в молодости ухлопал уйму времени на разные романтические приключения. К счастью, вовремя перебесился и дал задний ход. Но всё равно те годы – мой великий позор.

Как последний дурак, я чуть ли не в каждой женщине

видел чудо: какую-то таинственность, загадочность. Умора! Вся их загадочность в непостоянстве, в нелогичности суждений и поступков. Да и каких суждений, если у большинства женщин от двух до трёх извилин в голове и в основе примитивное желание – нравиться. Замечательно сказал кто-то из великих: «У обыкновенной женщины ум как у курицы, у необыкновенной – как у двух куриц». Лучше не скажешь.

А каково жить с глупой женщиной?! Это ж страшное наказание. Да и спать с такой куклой – не много радости; как говорит один мой приятель, «о глупую женщину даже мужское начало тупится». И с неглупой жить хорошего мало; я уже говорил – это вечные препирания, борьба за лидерство. Да и она умничает, умничает, а потом такое брякнет, что со стула свалишься. Среди умничающих есть всякие режиссёры, писательницы – те в массе своей мужланки. Есть и вовсе идиотки, которые лезут к власти, в политику (чаще всего от сексуальной неудовлетворённости или сдвига в мозгах) – ну, это уж вообще не женщины, а мужики в юбках. Обнимать такую женщину – всё равно что обнимать самого себя.

И все женщины порочны, даже самые невинные на вид, с ангельскими лицами и прирождённой стыдливостью – всякие святоши, альпийские цветочки. Такие ещё просто-напросто не разбужены, но в них уже идёт брожение, они уже потенциальные блудницы. Не случайно девчонки и созревают раньше мальчишек, у них с детства жгучий интерес к ин-

тимной жизни. Как правило, этот интерес идёт по нарастающей и, бывает, заканчивается маньячеством. Не зря же учёные вывели, что женщина думает о сексе в пять раз больше, чем мужчина.

Что меня особенно выводит из себя, так это то, что нормальные, спокойные отношения женщине быстро наскучивают – ей подавай адскую любовь с грузовиками цветов, яростный секс (некоторые не против и похищений, погони и мордобоя соперников). Допустим, живёт она с положительным, заботливым интеллигентом – её тянет к этакому разухабистому самцу-производителю со звериной страстью. Получает разухабистого – вновь мечтает об интеллигенте, который «понимал её тонкую натуру». Такой ветер в голове.

Но, с каким бы мужчиной женщина ни жила, как только отношения с ним переходят в ровное, мирное русло, когда мужчина увлечён работой и ему не до дурацких нежностей и поцелуйчиков, женщина начинает нервничать (вначале впадает в лёгкую панику, потом замыкается в себе с затаённой обидой – эти обиды бывают довольно грозными). И начинает вспоминать всяких воздыхателей из своей юности, с которыми связывала платоническая любовь и «каждый день был, как праздник». Она уверена, что та «неземная любовь» непременно переросла бы в «земную до гроба». Ей невдомёк, что с годами те воздыхатели превратились бы точно в такого же мужчину, с которым она живёт, или близко к нему. Тем не менее, та любовь не даёт ей покоя, она готова жить

этой сказкой, и попробуй её переубедить!

Женщина не понимает, что даже самые сильные чувства у мужчины с годами ослабевают и она обязана эти чувства постоянно поддерживать. Должна каждый день быть чуть-чуть новой и, в зависимости от настроения мужчины, становиться королевой или служанкой, монахиней или секс-символом. Должна предугадывать желания мужчины, беспрекословно выполнять то, что он просит, сглаживать неприятности, которые случаются у него на работе, о чём бы и с кем бы он ни спорил, твёрдо стоять на его стороне и многое другое должна. Но большинство женщин этого не делают, зато с каким подъёмом, как изобретательно пытаются переделать мужчину, подогнать его под свои мерки, а если мужчина сопротивляется, начинают его яростно пилить.

Но, к сожалению, никуда от этих особ не деться, к ним тянет, как к антиподам, чисто физиологически – природа, ничего не попишешь!

Из-за этой печальной необходимости приходится с ними встречаться. Но уж привязываться – дудки!

И свидание с любой красоткой я променяю на застолье с друзьями. Это их, женщин, раздражает. Особенно охотниц за старыми холостяками. Раздражает, что я и мои друзья видим их насквозь и подтруниваем над ними. Над их ужимками и жалкими потугами вбить клин в нашу дружбу. Общаясь с ними, мы, следуя мудрым заветам, в одной руке держим розу, а в другой кнут.

Но, естественно, особое раздражение у женщин вызывает наше свободное одиночество, «затянувшаяся холостяцкая жизнь», как они выражаются, а попросту наше нежелание жениться на них. Многих женщин даже не останавливает, когда им говорят, что мы отпетые бабники.

– Это даже интересно! – невозмутимо пожимают они плечами (и не только распутницы, но и более-менее целомудренные – они уверены, что нам просто не везло с подружками, что мы просто не тех встречали, а вот их-то будем любить всю жизнь).

Каждый знает – все женщины трезвонят, что им хочется «чистой любви» (даже развратницы, хотя на неё не способны), но как они себе представляют эту самую «чистую любовь»? Естественно, чтобы их носили на руках, в постель подавали сливки, дарили подарки, отвешивали комплименты, чтобы мужик вкалывал с утра до вечера, побольше приносил денег, а они развлекались.

Некоторые из женщин совсем спятили – ждут принцев! Забывают, идиотки, что для принца самой надо быть принцессой. Не знаю, как другим мужчинам, а мне всегда хочется таких, болтающих о «принцах» и «чистой любви», отправить в деревню и дать в руки лопату. Вообще для женщин любовь (не только «чистая» – всякая) – прежде всего наслаждения, удовольствия, а семейная жизнь состоит из одних поцелуев, но на самом-то деле любовь (чёрт бы её побрал!) – это жертвенность, а семейная жизнь – постоянные уступки.

Женщина ведь только и думает: что я могу получить от мужчины, сильно он меня любит или не очень? А ей надо думать – что я могу ему дать, что для него сделать, чем доставить ему радость? Должна довольствоваться своей любовью, рассматривать её (даже безответную) как дар небес и, само собой, ничего не требовать взамен. Но ни одной женщине это не докажешь, ей подавай ответную любовь и непременно более сильную. Помню, одна особа (из числа умничающих) мне возмущённо заявила:

– Неужели вы не понимаете, что женщина только отвечает на любовь!

Это следовало понимать – «позволяет себя любить». Вот такая ахинея! Мне-то давно известно: тот, кто любит сильнее, всегда проигрывает. Потому-то я с усмешкой смотрю на всяких любителей целовать ручки. Повторюсь: при слове любовь у меня сразу начинает болеть живот.

Ну а в совместном проживании – к тому, что я уже говорил, это уж обязательно – женщина должна выполнять сразу семь функций: друга, любовницы, секретаря, няньки, медсестры, домработницы, утешительницы – и при всём при этом в компании быть светской партнёршей, а дома кроткой супружницей, попросту твоей тенью. Понятно, всякие красотки на это не способны – то есть не могут быть домашними, преданными одному мужчине, ведь свою красоту они несут как драгоценность, показывают и так и сяк, а этот путь связан с постоянными соблазнами и, соответственно, с увле-

чениями.

Теперь-то нам легко – повторяю, мы видим женщин насквозь, для нас в них уже нет тайны (а если нет тайны, исчезает и красота), и мы не волочимся за ними (случайная, ни к чему не обязывающая встреча – ради бога, но что-то серьёзное – боже упаси). Не волочимся не потому, что нет желания или возможностей, – просто отошли в сторону, «ушли из большого секса», ведь есть дела поважнее (наконец-то можно спокойно поработать), да и годы уже поджигают, надо торопиться делать то, что не успели сделать, откладывать уже нельзя.

Теперь мы потешаемся над сверстниками, замученными семейным счастьем, ведь они погрязли в заботах и обязанностях и постоянно ругаются со своими жёнами, а при встрече с нами вздыхают:

– Женщины хороши, пока не становятся жёнами, – и предостерегают: – Не женитесь! Не будьте дураками!

Ясное дело, семейные ухожены, реже болеют и дольше живут, но стоит ли ради этого взваливать на плечи такую обузу?! И потом, одно дело встречаться с женщиной, когда она наутюженная, причёсанная, разрисованная, благоухает духами, улыбается, говорит приятные слова, другое дело – жить с ней, когда она непричёсанная, шлёпает в халате с кислой физиономией; насупившись, что-то бурчит, а то и скандалит – тут уж, как ни вертись, – через пять-семь лет она станет всего лишь единомышленницей, ну другом, сестрой – это в

лучшем случае, в худшем – квартиранткой, а то и врагом. Кстати, всякие размолвки и скандалы женщина рассматривает как неперменные атрибуты семейной жизни – думает, «попилю его, и он станет лучше, а если и немного переборщу – нестрашно; потом покручусь перед ним, покажу свои неотразимые формы – и он приползёт, как миленький, да ещё будет просить прощения». Тупица! Ей невдомёк, что после скандала неприязнь к ней только нарастает, а её прелести превращаются в уродства.

Кое-кто, из числа слабоумных, призывает: «Берегите женщин!» Чего их беречь? Они живучи, как кошки. Беречь надо мужчин! Мужчины сгорают намного быстрее женщин, ведь всё принимают близко к сердцу, загоняют себя работой, да ещё переживают за положение в стране и во всём мире; от постоянных стрессов курят, выпивают-и попробуй избавиться от этих «вредных привычек», когда вокруг творится чёрт-те что!

Говорят, женщины чувствительные, возбудимые, эмоциональные, у них интуиция и прочее. Чушь собачья! Все их переживания (в основном из-за пустяков) от неуравновешенности, и эти переживания так же быстро угасают, как и возникают, ведь происходят неосознанно, на уровне инстинкта. К примеру, вы прожили вместе несколько лет, потом разошлись; тебя ещё долго мучают угрызения совести за всякие промахи, а она встретила нового хахала и тут же забыла о твоём существовании, а то ещё будет рассказывать на каж-

дом перекрёстке, с каким кретином жила. И что немаловажно – после развода женщина на последующих мужчинах вымещает всё, что наболело с мужем, в то время как её муж, как правило, с другими женщинами замаливает свои проступки.

В чём переживания женщин устойчивы, так это в ревности и зависти к более красивым и удачливым подругам (некоторые вообще ненавидят всё бабское сословье, выделяя себя в особую касту). Женская дружба крайне редко бывает искренней; обычно женщина выбирает себе подругу или страшнее, чем она, или жуткую неудачницу и, ясное дело, рядом с ними чувствует себя уверенней и значимей.

Что касается шестого чувства, то оно у женщин проявляется лишь в одном – они безошибочно секут, кто нормальный мужик, кто импотент, кто «голубой» – только это, в остальном их чувствования недоразвиты. Слабый пол – он и есть слабый во всём. Ну не случайно, сколько женщины ни лезут в искусство, ни одной не удалось создать оперу, написать великую картину или роман уровня «Войны и мира» (только сопливые песенки, кисельные любовные истории, ну и, ясно, детективы, которые лишний раз доказывают кровожадность «нежных» дамочек).

Да что там искусство! Как известно, лучшие портные и парикмахеры – и те мужчины, не говоря уж о врачах, учителях, поварах... К тому же все женщины жуткие нескладёхи. Во всяком случае, всё, что они делают, я и мои друзья делаем более ловко и в сто раз быстрее. Единственно, что они дела-

ют неплохо – это раздеваются. И не смешно ли после всего этого столь никчёмную половину человечества считать лучшей, прекрасной?! Именно поэтому в Международный женский день особенно хочется выпить за мужчин.

По правде сказать, у бессемейных не всё гладко получается: иногда жаль тратить время на магазины, прачечные, готовку, уборку, но мы уже как-то свыклись с этими бытовыми заботами; порой не очень приятно завтракать и ужинать в одиночестве, но зато никто над ухом не жужжит и на душе спокойно. Конечно, бывает, по вечерам находит хандра, когда хочется с кем-то поговорить, поделиться мыслями, услышать похвалу о своей работе. Случается, прищучат болезни, и тогда не мешало б, чтобы кто-то заботился о тебе, но как представишь, что женщина изо дня в день маячит перед глазами, ещё сильнее заболеваешь.

Ко всему, в нашем возрасте уже трудно привыкнуть к женщине. У нас уже чётко заведённый порядок, вещи лежат на своих местах, а она что возмёт, никогда не ставит на место. А то начнёт всё перекладывать по-своему; приберёт на твоём рабочем столе – потом ничего не найдёшь (у меня-то давно жёсткое правило: женщин к рабочему месту не подпускать; если какая случайно подойдёт, потом и стол и стул окуриваю – сбиваю её дух).

В семье как? Утром она убегает на работу, а ты ещё можешь поспать, но где там! Плещется в ванной, гремит на кухне, потом уже вроде оделась, вроде уходит, так нет – ещё раз

пять подойдёт к зеркалу и всё топаёт на каблуках. Ясное дело, больше уснуть не удаётся... Встанешь, заглянешь на кухню – в раковине посуда: не успела вымыть, значит, тебе приходится. Пойдёшь в ванную, а там от батареи флаконов бьёт резкий запах, рядом с твоей бритвой бигуди, ещё какие-то фиговины, какие-то ватки в помаде и туши, и куча «украшательств» – бижутерии; ну неужели нельзя все эти побрякушки убрать в один ящик, почему они должны мозолить глаза? Ну и, само собой, в расчёске полно волос, тюбик зубной пасты измят – больно смотреть, и всюду её бельё. И вообще, что у них, у женщин, за мода – по всей квартире разбрасывать свои шмотки! Вот неряхи!

И что за манера – ставить вещи на край стола, или устраивать из посуды неустойчивые пирамиды, или всякие безделушки выставять напоказ, а вещи, которые постоянно должны быть под рукой, запихивать в дальний угол! Кстати, на работу женщины еле встают, а вот если предстоят развлечения, вскакивают, как ужаленные, – ну то есть серьёзные дела для них – нудная обязаловка, а вот развлечения – смысл жизни.

А по вечерам ты должен выслушивать сплетни о её сослуживцах и отмечать её ужин и то, что тебе чего-то там подшили, – иначе жуткая обида. И должен «чистить зубы на ночь и мыть ноги» (понятно, сами-то женщины любят поплескаться и могут быть чистоплотны до болезненности, но жутко неаккуратны), и должен «поменьше курить, а пьянки с друж-

ками вообще прекратить». И, естественно, надо её развлекать, что-то болтать – в противном случае прослывёшь бесчувственным чурбаном. И никуда не деться от споров; причём женщине начхать на тему спора (тем более на истину), главное – одержать победу. Через пять минут она забудет, о чём был спор, но своей победе ещё долго будет радоваться; потому-то, ради мира в семье (и собственного здоровья), иногда можно и сделать вид, что складываешь оружие (разумеется, только в чепуховом споре, но никак не в серьёзном).

Что ещё случается в семье по вечерам? Ну, к примеру, ты настроился посмотреть по телевизору футбольный матч, заранее купил пивка или четвертушку, а твоей половине, видите ли, надо духовно обогатиться, досмотреть какой-то мыльный сериал – ясное дело, без скандала не обойтись.

Или тебе хочется отдохнуть, полежать на тахте в тишине, а ей приспичило наводить порядок в квартире – и громыхает, хоть беги из дома, а то и начнёт строчить на машинке – ей позарез понадобилось что-то сшить.

Доходит до смешного: тебе жарко, ты открываешь окно, а она просит его закрыть – она, видишь ли, замерзает. И наоборот: если тебе холодно, её, естественно, распирает жар.

В семейной жизни женщина редко сияет: то не выпалась, то с кем-то повздорила на работе, то у неё критические дни – и потому бесится, не находит себе места, и всё старается тебя разжалобить, пристаёт, пытается как-то зацепить, к чему-то придрататься: «то не сделал, это не починил». Такое надо сразу

обрубить, показать характер:

– Поменьше крутись перед зеркалом и выкинь всякую дурь из башки, вон сколько работы в доме: там пыль, там вещи не на месте, на моей рубашке отлетела пуговица (надо непременно перечислить объекты для работы, указать на её промахи, чтобы заронить чувство вины).

А если начнёт огрызаться, можно и выдать парочку слов из нашей богатой матерной лексики, и шлёпнуть распоясавшуюся особу по заднице – сразу придёт в себя. Так же, как собаку не воспитаешь без ремня, так и женщину без силового давления на место не поставишь.

Что ещё раздражает, так это привычка женщин использовать вещи не по назначению, браться в первую очередь за ерунду, мелочовку, а важные дела откладывать на потом; и менять привычное, обжитое на современное «модное» (будь то обои, мебель или утварь). Что у них за обычное – выбрасывать старые, пусть чуть сломанные, вещи, да ещё с присказкой – «этой рухляди место на помойке!»? Мне-то эти вещи как раз особенно дороги; я, надо сказать, в быту не терплю всяких новшеств и до конца своих дней хочу видеть то, что привык видеть, и пользоваться тем, чем пользовался всю жизнь (даже одежду ношу, как цыган, до полного износа); и не терплю всяких перестановок в доме – пока с ними свыкнешься, то и дело будешь на всё натывать; я должен ходить по квартире вслепую и определять вещи на ощупь.

И раздражает чрезмерно серьёзное отношение женщин к еде, всяким диетам, и хроническая озабоченность своим внешним видом, и многое другое, что у каждого нормально-го мужчины сидит в печёнках.

Ну и, само собой, раздражают воскресные посещения родственников жены, когда надо изображать семейную идиллию, а раз в месяц – это уж обязательный ритуал – выход «в свет»; как говорит мой приятель, «выгуливать жену» – в кино там или в театр. И при всём при том – вечные женские капризы, дурацкие сообщения, смехотворные проблемы, пустая болтовня с подругами по телефону и идиотские мечты о будущих покупках – да что там! – перечислять весь этот культовый набор – только трепать себе нервы. Короче, подобная жизнь не для таких, как я. Когда-то, давным-давно, я уже был женат, и хватит с меня!

Кстати, я прожил в браке три года, и всё это время моя благоверная методично пила мою кровь, как вампирша; по стакану в день. В конце концов вылакала целое ведро, не меньше; я прямо весь высох. Но однажды хлопнул кулаком по столу и сказал:

– Всё, баста!

Мы разошлись, и я сразу набрал прежний холостяцкий вес, а вскоре даже поправился на десять килограммов.

Конечно, в прикладном смысле не мешало б иметь некую женщину-невидимку, дежурную любовницу с покладистым характером, которая, как минимум, была бы красивой и лю-

била бы абсолютно всё, что любишь ты. И повторяла бы твои слова (во всём поддакивала), и никогда ничего не просила, ни на что не жаловалась. И принимала бы твои привычки как святое (даже возрастное занудство выслушивала бы, как «Лебединое озеро»), а на самого тебя смотрела бы, как на икону. И чтобы охраняла бы тебя от всяких неприятностей, и вообще появлялась бы, когда необходимо, и мгновенно исчезала, когда у тебя есть более важные дела. Но главное – видела бы тебя таким, каким ты мог бы быть. Только где такую найдёшь?! Ведь они сейчас все личности, у них столько запросов, требований! К счастью, днём за работой о женщинах и не вспоминаешь, а по вечерам всегда можно встретиться с друзьями, благо у нас есть свой клуб, ЦДЛ то есть.

Так я рассуждал, когда моим друзьям и мне чуть перевалило за пятьдесят; приблизительно так же я рассуждаю и сейчас, спустя десять лет.

Клуб писателей Если тебе надоел ЦДЛ, то и ты ему надоел



КЛУБ ПИСАТЕЛЕЙ

Если тебе надоел ЦДЛ,
то и ты ему надоел



Сборище гениев

Наверно есть гении, которые в общении с обычными людьми держатся естественно и просто и не строят из себя великанов. Маловероятно, но все-таки возможно, среди гениев есть даже скромники, которые и не догадываются, что они гении. Я же в основном знал только безумцев, заик-ленных на себе, подавляющих своей исполинской мощью. С большинством из них встречался в Доме литераторов, где в семидесятых годах жизнь бурлила, искрилась, пенилась и так далее. Бывало, заглянешь к господам литераторам, а там в Пёстром зале – за каждым столом по гению, прямо никуда не деться от этих гениев, не с кем поговорить по душам просто за жизнь; выискиваешь какого-нибудь незатейливого собеседника – всего-навсего способного, не более, и подсаживаешься к нему. Случалось, в том кафе за столом восседало сразу два гения, тогда к концу вечера вспыхивали и потасовки, довольно зрелищные моменты.

Что я заметил: одни из титанов мысли, подогретые нашим национальным напитком, всех сподвижников по творческому цеху валили в одну кучу и смешивали с грязью, а себя, колотя в грудь кулаками, выставляли чуть ли не создателями новой религии, при этом заявляли, что все должны считать за честь сидеть с ними за одним столом. Другие говорили о своей гениальности спокойно, как бы между прочим,

как само собой разумеющееся и всем давно известное, будто бы они всего лишь посредники между Богом и нами, кузнечиками. Третьи в кругу единомышленников, с трудом ворочая языками, застенчиво бормотали: «Кое-что делаю, так, более-менее удачное», но стоило такому скромняге очутиться за столом со случайным посетителем кафе (тем более с посетительницей), как он с бешеным напором заявлял, что создал «нечто гениальное».

Я, конечно, с глубочайшим уважением отношусь к странностям (и даже к сумасшествию) в творческих людях, но от «гениев» всё-таки стараюсь держаться подальше – не очень приятно рядом с ними чувствовать себя полным дураком, да и никогда не знаешь, что взбредёт «гению» в следующую минуту, какие он начнёт выделять кренделя.

Некоторые считали Пёстрый зал богемным болотом, где разные свихнувшиеся неудачники пропивали последние мозги. Это неверно, точнее – поклёп грязнейшей воды. Конечно, в кафе собиралась и окололитературная публика, балдевшая от самого процесса общения с властителями дум, и графоманы – их хлебом не корми, дай окунуться в алкогольный литературный трёп да посмаковать сплетни об известных людях; они как бы ходили около пирога и не могли его укусить – но таких насчитывались единицы, а среди тех, кто в открытую или втайне считал себя гением, было немало по-настоящему талантливых людей; их сверхсамоутверждение являлось определённым катализатором в творчестве, есте-

ственным человеческим желанием быть лучшим в своей области. И уж что бесспорно – их встречи за бутылкой водки были далеко не унылыми бездуховными пьянками. Да и как они могут быть унылыми у литераторов, если наши российские выпивохи, обычные работяги, в любой привокзальной забегаловке говорят о мировых проблемах, а могут и подраться из-за Чехова? В какой стране такое возможно? В какой стране каждый второй пьяница – философ?

Кстати, ко всем пьющим я также испытываю немалое уважение и не упускаю случая примкнуть к их племени, поскольку и сам давным-давно приобщился к крепким напиткам. Должен заметить – все самые интересные люди, которых я встречал в жизни, не были трезвенниками. И это понятно – талантливому, мыслящему, вкалывающему необходимо снимать напряжение, расслабляться после перегрузок.

Ну да ладно, вернусь в Пёстрый зал, расскажу о некоторых представителях детской литературы – это народец тот ещё! У них не найдёшь детской доверчивости или подросткового восторга – сплошной холодный расчёт. Тот, кто думает, что у них нежные, чувствительные души, – ошибается. Они говорят резко, действуют жёстко, безжалостно (прямо размахивают топором), отмечают всё, что не вписывается в их понятия. Изверги, одним словом, и каждый – своеобразный фрукт, шагающий, вернее бегущий, навстречу славе.

Разрекламированный окололитературными кругами поэт Генрих Сапгир был одним из первых, кто объявил мне о сво-

ей гениальности. В один прекрасный день, после лёгкого застолья, он внезапно встряхнулся, нахохлился и, выпучив глаза от ошеломляющей фантазии, доверительно шепнул мне на ухо:

– Я дико гениален! Дико! В моих произведениях ничего нет случайного. Пока существует литература, моё имя не зачеркнуть! На Западе я в энциклопедиях на одной ступени с Ахматовой. Сейчас вхожу в тройку лучших поэтов мира. Я громадная личность, а эти, – он кивнул на сидящих в кафе, – эти просто так... просто хорошие парни.

Вот так дословно и сказал, без всякой сдержанности, без приуменьшений, смягчающих словечек, и, вцепившись в мою куртку, заставил слушать свои вирши. Целый час не отпускал, пока моя голова не распухла от впечатлений, а когда я всё-таки поднялся, бросил:

– В поэзии есть Пастернак и я.

В тот же прекрасный день его примеру последовали два ленинградских литератора, два мастера отточенной прозы, в которой слова связаны цепко, как сплав: Виктор Голявкин и Сергей Вольф. С могучим ироничным Голявкиным я познакомился ещё в Гурзуфе (тогда же он дал мне понять, что является не просто талантищем, а настоящей глыбой), теперь он обитал в Переделкино, но, как и тогда на юге, с какой-то яростной страстью объявил мне:

– Пишу по одному гениальному рассказу в день и выбрасываю в форточку (в Гурзуфе выбрасывал в море). Мне

главное – сделать, а на признание наплевать. Искусство вообще условно. И вдохновение – чушь собачья. Это вроде – идёшь по улице, и тебя шарахнули кирпичом по башке, и ты несёшься, вздрюченный, к столу. Как говорил философ, «кто хочет добиться успеха, должен иметь или хорошие мозги, или хорошие ягодицы». У меня есть и то, и другое, – довольный победоносным остроумием, он хлопнул себя по лбу и заду, и на его лице появилось немыслимое счастье.

Сергей Вольф – высокий стройный бородач, изысканный эстет, вокруг которого прямо витала высокомерная гордость; мы с ним выпили по паре рюмок водки (для поднятия духа), и он сумрачно проговорил:

– Я на время отложил прозу и начал писать стихи. Гениальные.

У меня непроизвольно вырвалось ругательство: три гения за день – это уже было слишком, я испугался, что не выдержу такую нагрузку.

– А почему ты позволяешь себе при мне ругаться? – Вольф надул щёки, насупился. – У вас, в Москве, эти выкрутасы в порядке вещей, а у нас считаются дурным тоном. Поэтому здесь не испытываю ни малейшего желания с кем-либо общаться. Тебе, так и быть, прочитаю последние стихи. Сейчас поймёшь, что такое потрясающая поэзия.

Стихи действительно меня потрясли пиршествom эпитетов, богатой гаммой чувств, накалом в сотню градусов, но до классиков они всё же не дотягивали. Впрочем, возможно, я

чего-то не понял, ведь Вольф упомянул, что целая галерея поклонников и поклонниц от его стихов сходит с ума.

Как-то в Пёстром я встретил писателя Сергея Козлова, довольно суматошного литературного разбойника (он с особым размахом брался за всё: сказки, пьесы, стихи, песни).

– Талант, старик, это непрерывная продуктивность, – возвестил Козлов. – Вот я написал триста сказок. Так. Из них сотня средних. Как бы. Сотня хороших, пятьдесят отличных. Как бы. И пятьдесят гениальных. Мне не хватает издательств. Я мог бы в пятьдесят издательств отдать пятьдесят книг. Талант – это количество, непрерывная продуктивность.

– А как же Тютчев? – сделал я осторожный шаг.

– Аа-а! – махнул рукой Козлов. – О чём ты, старик, говоришь?! – и, помолчав, добавил: – Вот только Успенский мне всю погоду портит. Как бы. Сколько раз ему, тронутому, говорил: пиши свои стишата, не лезь в сказки.

– Неужели не можете поделить жанры? – вырвалось у меня.

– Старик, ты чего-то не понимаешь, – поморщился Козлов и посмотрел на меня как на законченного кретина. – Пойми, двум талантам трудно работать на одной площадке. Один другого съедает. Как у хищников.

Эти страшные загадочные фразы не под силу моей голове – не могу их понять до сих пор.

Вскоре я встретил ещё большего суетника, прямо-таки

моторного Эдуарда Успенского, которого окружала какая-то наэлектризованная атмосфера (под сотню вольт) – попадая в неё, окружающие невольно испытывали беспокойство (особо чувствительные даже начинали дёргаться). Успенскому была свойственна редкостная деловая хватка.

– Голова идёт кругом от гениальных проектов, – заверещал он, едва ответив на моё приветствие. – Я фабрика, которая работает бесперебойно. Прихожу на телевидение, говорю: «Давайте миллион, сделаю передачу» – дают. Куда они денутся, кто, кроме меня, сделает? Так что дела идут, но полоумный Козлов всё время дорогу перебегает – пишет сказки, гад. Хорошо, что ты пишешь рассказы, ты мне не конкурент.

О своей гениальности и беспредельных возможностях напористо распинаялись уродливый коротышка Юрий Коринец и сутулый фитиль с чёлкой-«педерасткой» Игорь Холин, но если первый делал действительно качественные вещи, то второй – сплошное ёрничанье, какие-то пунктирные строчки, мозаику, занимался словесной эквилибристикой, от которой приходили в восторг только истеричные слезливые литературные дамочки.

Старый брюзга Василий Голышкин тоже как-то брякнул: – Пишу гениальный роман – Толстой вздрогнет! Когда выйдет, подарю. Начнёте читать – не сможете оторваться.

Что досадно, мои близкие друзья Игорь Мазнин и Юрий Кушак тоже были неслабого мнения о себе. Мазнин не раз

хвастливо сообщал:

– У меня есть парочка пушкинских строчек. Я гений! Это эталон прозы.

Как-то, напившись, он и вовсе выдал, будто делает милость, что терпит нас, и заключил:

– Все вы г...о, а я гений!

А Кушак, после того как его жена Елена сказала, что он гений, подтвердил её слова и бухнул, что и в остальном лучше нас всех:

– ...Лучше, Лёнька, лучше! – сказал мне без всякой рисовки, с какой-то обидой, что это мало кто видит.

Я так и не понял, что значит «лучше». Все мы в одном лучше, в другом хуже. Конечно, мало ли что отколет человек в подпитии, но, с другой стороны, никуда не денешься, в такие моменты раскрывается его суть. Справедливости ради замечу: лет десять назад, в пик своей издательской деятельности, Кушак уже представился нам с Юрием Ковалём как «бывший поэт», а недавно, на шестидесятилетии Марка Тарловского, с ложной скромностью заявил:

– Я тоже способный.

Леонид Яхнин как-то отмочил номер – при встрече, посмеиваясь, сообщил мне:

– В одном журнале написали, что я великий! Вот так вот!

Юрий Коваль вообще ежедневно, как молитву, повторял:

– Мои гениальные холсты... Мои гениальные, божественные тексты...

Как-то, во время подобных пафосных тирад, Мазнин (забыв собственные слова) вознёс руку над головой:

– Тоже мне гении! «Каштанку»-то никто из вас не написал! И вообще хватит орать! В стране, где жили Пушкин и Толстой, надо вести себя тихо!

Нужно отдать должное Мазнину – после этого он уже никогда не заикался о своей гениальности и с каждым годом вёл себя всё тише, а на своё пятидесятилетие и вовсе произнес сникшим голосом:

– Я в искусстве не наследил.

На что Андрей Кунаев резко бросил:

– А надо было наследить!

Сам-то Кунаев наследил ого как! Его замысловатые, хаотичные рассказы так перенасыщены всякими вывертами и фортелями, в них такая смысловая нагрузка, такое дно, что забываешь о поверхности – о чём, собственно, речь. Я, плохо подготовленный к такого рода чехарде, ничего не мог разобрать, но чувствовал, что Кунаев орудовал мощно, и, думаю, он ещё что-нибудь выдаст, что-нибудь крупного калибра, какое-нибудь литературное безумие. Он, сатана, может. Говорят, Кунаев тоже считает себя гением. Врать не буду – мне об этом он никогда не говорил, даже когда мы крепко поддавали, но о чём не раз упоминал, так это о своих зелёных глазах и своём происхождении из кавказской народности лакцев, и с большим удовольствием разоблачал псевдонимы писателей:

– Ваша настоящая фамилия Рабинович (или Левин), не так ли? Я знаю, хе-хе!

Нельзя сказать, что Кунаев сильно не любит «богоизбранных», скорее – просто недолюбливает; ну и, как это часто бывает, они-то его и окружают, ведь он юморист, а в том клане других национальностей нет.

Стоит отметить ещё двух моих близких друзей, двух Ивановых – Альберта и Сергея. Сценарист и прозаик, коллекционер пивных кружек и колокольчиков (такой малосовместимый набор!), Альберт Иванов при мне расхваливал свои книжки редакторше издательства «Советская Россия»:

– А эта как написана, а?! Кто так может? А та какая?!

Перечислил штук пять и в тот же день подарил мне книгу для взрослых; сделал дарственную надпись и протянул со словами:

– Прямо сейчас открой на любой странице, прочитай любые строчки – это гени... – он, молодчина, не договорил и поправился: – Там всё настоящее.

Но недавно меня удивил:

– Я написал триста пятьдесят сказок про Хому и Суслика, – сказал. – Мои книги сразу раскупают. На прилавках их нет. Я в сборниках «Золотого фонда», среди лучших детских писателей мира, рядом с Кипплингом, Хантером. Я академик Российской словесности. Помог вступить Мирнев (Львовский, мерзкий тип с оловянными глазами и бездарный прозаик, накатавший восемнадцать романов, которые

невозможно читать). В Академии детских писателей всего двое – Михалков и я.

– Знаешь, Хармс на своей двери написал: «Чины и звания оставьте за дверью»? – вставил я. – На кой чёрт тебе эти звания? Нам с тобой уже на седьмой десяток. Ты сколько собираешься жить? Или так готовишься к вечной жизни, хочешь на том свете быть при параде?

– Кем буду в следующей жизни, не знаю, а в этой звания не помешают. Я ещё и корочку «Пресса» получил. В Международный союз журналистов вступил. Ценная вещица. За границей сразу иду в их Союз, они устраивают гостиницу, обслуживание со скидкой, всякие поездки.

Альберт Иванов – практичный, башковитый (почти мудрый), талантливый (у него яркая, лаконичная проза), компанейский и внешне-вылитый киногерой (когда по случаю торжеств надевает бабочку, его принимают за посланца Голливуда); он был ещё более талантливым и мудрым, пока не бросил выпивать (на него навалились болезни). Похоже, японцы не зря вывели, что алкоголь способствует развитию ума – естественно, в разумных дозах.

Как и все мы, Иванов небезгрешен, у него свои оригинальные качества: он чересчур липнет к знаменитостям, сюжеты черпает из судебных протоколов; когда речь заходит о его работе, скрытен, осторожен, боится сглазить – «так, пишу понемногу... рассказы, повесть, – промямлит, хитрец, и стучит по дереву, плюёт через плечо, – для какого издательства,

пока не скажу – секрет». Спросишь его: «Куда едешь отдыхать?» – а он опять: «Пока не скажу».

Но в одном Иванов резко отличается от всех нас: по нему, симпатяге, сохнет туча поклонниц, но он, как лебедь, всю жизнь верен своей жене. Такое упоение одной женщиной – исключительный случай в творческой среде. Впрочем, кое-кто приближается к Иванову; например, тот же Козлов, который, несмотря на давний развод с женой (поэтессой Т. Глушковой), продолжает заботиться о ней (привозит продукты, достаёт лекарства, постоянно интересуется её творчеством).

Сергей Иванов вообще никогда не распространялся о своей работе – лишь отмахивался:

– Пишу гениальные вещи!

И сразу становилось ясно: он без лишнего шума создаёт шедевры и является не только лучшим, а единственным – то есть имеет золотые мозги, священную руку и делает для человечества больше, чем кто-либо.

Дремучий, закрытый, необщительный прозаик Александр Старостин тоже разочек глухо буркнул, что «создал гениальное». Чтобы выяснить подробности, я предложил ему пропустить по соточке. За столом он проникновенно пояснил:

– ...Можно сказать, я дал нашему поколению новые ориентиры. (Вот так, не меньше! Вроде до него мы не туда шли.) Теперь у всех нас широчайшие возможности. Но пока всё на бумаге. Не знаю, кто возьмётся печатать.

– Дай почитать, бумажный талантище, таинственная ду-

ша, а то мои возможности жутко сузились, – неуклюже пошутил я.

– Дам... А душа у меня, между прочим, тверская. Я потомственный тверяк. Таких среди пишущей братии только двое: я и Борька Воробьёв. (Он забыл упомянуть поэта Владимира Соколова и Владимира Смирнова, профессора Литинститута, блестящего знатока русской литературы, истинного патриота России.)

Маленький, усатый, узкоглазый Марк Ватагин – в общем-то тихий, мягкий человек с тонким птичьим голосом; он крайне редко говорит о себе – в основном когда дело касается романтических историй (это важная сторона его жизни; при виде девиц он, уже старикашка, облизывается, словно кот в предвкушении лакомства, и жмурится так, что его глаза совсем исчезают). Мы знакомы два десятка лет, и я не припомню случая, чтобы он расхваливал свои литературные работы, но недавно его прорвало:

– Что-нибудь пишешь? – спросил я при встрече.

– Сейчас должно выйти несколько томов сказок в моём пересказе. Это будет литературное событие.

Распираемый собственным величием, он пробормотал ещё какие-то слова, суть которых: выход его толстенных книг (монстров в тысячу страниц) – факт уникальный, ни на что не похожий, и теперь без его фолиантов детская литература будет неполной. Его слова крутились на языке вокруг главного слова, но произнести его он никак не решался. Я

ему помог:

– Понятно, это гениальный труд. Ты увековечил себя. Он облегченно кивнул.

Но что детские писатели! Представители взрослой литературы перещеголяли всех на несколько порядков – они самовосхвалялись до небес.

Симпатичный толстяк Ашот Сагратян выглядел преуспевающим: одет с иголочки, походка размашистая, усы в завитках, не шевелюра, а цветущий куст; во всём облике – непомерная уверенность в себе. Как-то поведал мне, что достал французские краски и голландские кисти и начал писать новую серию цветов.

– Год рисую фиалки и делаю к ним рифмованные подписи. В моих стихах ценные мысли, высокие чувства, богатые слова. Гениальные вещи! Сейчас не продаю. Через два-три года каждая картинка будет стоить состояние. Заходи в мастерскую, в мой запасник мировых духовных ценностей. Мои картины уже закупил Нью-Йоркский музей. Сейчас у меня выставка в Доме медиков. Но две картины стащили. Каждая по десять тысяч долларов. Я сходил в церковь, поставил свечку, чтоб воров постигла смерть... Потом будет выставка в Доме композиторов, потом в Доме учёных...

Сагратян был моим хорошим приятелем, но я всё боялся – если дело так пойдёт и дальше, он кончит не в этих домах, а в другом доме.

Ещё один поэт, мрачный и грубый Борис Авсарагов одеж-

де значения не придавал и вообще вёл беспорядочный образ жизни; внешне выглядел устрашающе: коренастый, на лице складки, глаза навывкате, нос с широченными ноздрями; завершала портрет кривая зловещая ухмылка – казалось он съел гнилой огурец. Все поступки Авсарагова отличались дерзостью; он возомнил себя чёрт-те кем: среду простых смертных откровенно презирал – «не терплю никчёмных разговоров»; в синклите незаурядностей держался развязно, нахально и постоянно искал повод, чтобы сказать гадость, при этом не церемонился в выборе выражений, подходил к компании и с ходу взламывал её:

– Вы все дерьмо. Там, где вы заканчиваете, я только начинаю. Я гений! Я не написал ни одного плохого стихотворения. Мои стихи на чёрном рынке стоят сотни.

Глядя на Авсарагова, я сделал вывод: для обычного человека его свобода поведения заканчивается там, где начинается мир другого человека, а гений своё пространство не ограничивает.

Стихи Авсарагова действительно сделаны мастерски: слова скупые, пригнаны плотно, словно кирпичик к кирпичику; жаль только, в этой тщательной отделке не оставалось места чувствам. О воздухе между строк и не говорю: читая их, я прямо задыхался – казалось, поэт творил где-то во внеземных сферах, где нет кислорода. Выслушивая самопрославление поэта, я недоумевал – ну ладно, думай о своей гениальности про себя, зачем внушать о ней другим?

– В Авсарагове сидят черти, – со знанием дела говорил поэт Эдуард Балашов.

Заходили в заповедное кафе ещё несколько разнузданных, сумасбродных гениев вроде поэтов Анатолия Заяца и Арсения Седугина. В горластом – душа нараспашку – Заяце сидел огнедышащий дракон. Он входил в кафе и на весь зал орал: «Привет клубу чудаков!» – и, подсаживаясь к завсегдатаям, без передыха перечислял десятку современных гениальных российских поэтов, при этом себя скромно ставил на шестое место. Он часто вёл себя как ненормальный, но писал здравые стихи о каком-нибудь крупном деятеле (как тот в детстве сидел на таком-то дереве, гладил такую-то кошку) и постоянно лез на трибуну (на собраниях, обсуждениях), всё время старался высунуться, отметиться. Знаменитостям Заяц подобострастно жал руки, с лёгким подхалимажем умышленно повышал в званиях... Некоторые говорили, что у Заяца есть хорошие стихи – не знаю, не читал. Я вообще не видел в нём ни одной светлой черты и старался обходить его стороной, но он то и дело лез ко мне. Как-то подскочил, схватил за руку и взвизгнул:

– Я такое сделал! Та-акое!

Я думал, он убил кого-нибудь, а он отвёл меня в сторону и показал клочки бумаги, на которых были намазюканы палочки, крючки, загогулины, какие-то кошмарные букашки, явные следы душевного надлома, искривлённого ума.

– Видал?! – говорит, и дальше, прямо истекая слюной: –

Новая форма, шифры стиха! Гениально! Это нечто! Такого ещё не было!.. Я подарил миру совершенное решение. Как-то неожиданно нашло. Сам не ожидал.

Казалось, его дракон нахлебался перебродившего вина и внезапно зелье вырвалось наружу. Он говорил о себе как о творце, который совершил подвиг, – творце, руку которого ведут потусторонние, всевышние силы, а он вроде здесь ни при чём, ему не нужно ухлопывать уйму времени, чтобы докопаться до главного – всё даётся без натуги, даром. Выпав из набора из превосходных, затмевающих небо степеней, он убрал свои изыскания.

– Ну, я побежал работать. Времени в обрез. Надо наращивать скорость в работе. Нельзя расхолаживаться.

– Беги, конечно, – растерянно пробормотал я. – Но не переутомись!

Не менее помешанным выглядел и Седугин: тот в любое время года ходил в драной телогрейке и изношенных сапогах, невнятно бормотал, что голодает, ночует в каких-то трубах, цистернах, но имел машину и дачу с сауной и маскировался под горемыку бомжа, чтобы вызвать жалость. Он занимался каким-то гибридным искусством: писал рассказы в диалогах (лупил избитые фразочки) и по шаблону делал к ним абстрактные иллюстрации, в которых сквозило желание удивить, – всё выглядело нарочитым и пахло шарлатанством.

Писал он и стихи: то какой-то случайный набор слов, на-

поминавший свалку из литературных обломков, то что-то слянявое, где строфы таяли, как мороженое, – тем не менее, а может быть, именно поэтому за Седугиным постоянно вился шлейф поклонниц немислимой, ошеломляющей красоты – они напоминали балетную труппу и шествовали за «мастером» с безропотной покорностью, в открытую называя «непризнанным гением». Завсегдатаи кафе с завистью пялились на свиту Седугина, сладострастно обсуждали женские формы, а Седугин вроде и не замечал воздыхательниц – похоже, ему были нужны не хорошие формы, а хорошие уши (слушательниц). Всем своим видом он давал понять, что нельзя смешивать возвышенное и низменное.

Войдя в кафе, Седугин хищно (больным, диким взглядом) осматривал собратьев по перу, достаточно громко произносил:

– Моё время наступит после моей смерти, – и уводил красоток в Каминный зал, где читал последнее шедевральное.

Некоторые называли Седугина «разложившимся типом», говорили, будто бы «от него несёт трупным запахом». Подобные смертельные характеристики я не раз слышал от других гениев. Быть может, так говорили из зависти, кто их, гениев, разберёт? Им постоянно тесно среди творческой братии, вечно не хватает жизненного пространства. Но уж «разложившийся» – это слишком, ведь в сущности Седугин – безвредный субъект, и его ерундовые вещицы нравятся женщинам.

Поэт Спартак Куликов не входил, а проскальзывал в кафе, робко, как мотылёк; несколько минут брёл вдоль стены и, запрокинув голову, что-то бормотал, а столкнувшись с кем-нибудь из литераторов, ошарашивал неожиданным вопросом типа:

– Что лучше: время в пространстве или пространство во времени? – и, не дожидаясь ответа, шёл к следующей стене.

Обойдя весь зал по периметру, Куликов брал у стойки бутылку пива и садился за пустой стол – было ясно: всякое общение для него – страшная мука, а собственный мир – высшая окончательная ценность. Однажды с неизменной бутылкой пива он внезапно нерешительно двинулся в сторону моего стола, и я тут же жестом предложил ему присесть, но он замотал головой и остановился в двух шагах:

– Как думаешь, это плаксивое бабство (он кивнул на поэтов в кафе) способно разродиться космическими стихами? Думаю, не способно. У них одно литературное баловство. Им не помогут даже грядущие трагические события. Я это знаю. Я уже там, где искусство сомкнулось с религией, – он показал на потолок, но, понятно, имелось в виду поднебесье, у него было какое-то дикое чувство пространства.

Дом литераторов трудно представить без прозаика и поэта Анатолия Шавкуты – он постоянный обитатель клуба (случалось, перебрав, оставался в нём и ночевать, устроившись где-нибудь на диване в гримёрной). Бывший строитель и отличный спортсмен, он занялся литературой, проштудировав

классиков и уже имея приличный жизненный опыт; ему не хватило всего ничего – волшебства, без которого литературу не отличишь от журналистики (проще говоря, одно дело – уметь видеть, другое – передать своё видение и заразить им других). Когда-то он написал пару хороших рассказов и штук пять неплохих стихов – тут бы ему и остановиться, но он, настырный, уже поймал кураж – стал катать дальше и в результате наплодил массу посредственных вещей.

Трезвый Шавкута – великолепный собеседник с цепким умом и склонностью ко всеохватывающим обобщениям (что много говорит специалистам, знающим толк в подобных штуках), но после первой рюмки всем затыкает глотку:

– Молчи, дурак!

После второй может ляпнуть:

– Пошёл вон отсюда!

После третьей скалит зубы и в точности повторяет репертуар Мазнина и Авсарагова, только агрессивней:

– Я гений, а вы все дерьмо! (такая восходящая траектория).

Несколько раз в кафе эффектно появлялась поэтесса из Прибалтики (забыл её фамилию). Она являлась как привидение – бледная, в совершенно прозрачном белом платье, больше похожем на комбинацию, за которой просматривалось абсолютно всё, и в белой шляпе, размером с автомобильное колесо. Рядом с поэтессой шествовал её муж-верзила – он смотрел на свою суженую глазами преданной собаки.

Закинув ногу на ногу и закурив, поэтесса посылала мужа к стойке за выпивкой, а сама поворачивалась и так и сяк, демонстрируя грудь и бёдра. Как-то бросила в мою сторону:

– Ты не поэт, а прозаик, сразу видно. Даже сидишь не как поэт(!) Спокойный, сухой какой-то... А я в растрёпанных чувствах, прям разрываюсь. Во мне постоянно борется божье и дьявольское.

Я не стал выяснять, что чаще побеждает, и она сделала зигзаг в другую область:

– Больше всего на свете люблю поэтов и цветы.

Я усёк её отвлекающий (вернее увлекающий) манёвр и грубовато съехидничал:

– Наверно, розы. Красные, наглые, развратные...

– И розы тоже. В них дыхание любви и смерти, тебе не понять.

Естественно, до таких высот я ещё не поднялся и увильнул от разговора.

После двух стаканов вина бледность с лица поэтессы исчезала, глаза становились горящими, как на иконе, она учиняла разнос посудомойке за грязные столы, затем буфетчице – за «разбавленное» вино, объявляла, что является польской княжной и получила «объёмное, массированное образование»; в заключение обращалась к мужу:

– Мало я тебя закрепила. Не забывай, я знаковая, культовая личность, я гениальная польская поэтесса, а ты русский козёл!

Дальше она громко читала свои стихи – какие-то напыщенные изыски-вывески (некоторые с эротическими нотками). Помню, после её выступления кто-то удачно пошутил: – Это музыка для ушей! Я готов слушать вас вечно. Можно до вас дотронуться, чтобы почувствовать причастность к великому?

Другие поэты рассказывали, что дома эта поэтесса в основном ходила голая и, во время ссор с мужем, часто высказывала в чём мать родила на лестничную клетку и на весь дом поносила «неотёсанный» русский народ и его типичного представителя – своего мужа; будто бы эти экзотические спектакли случались два-три раза в неделю и на них сбегалось немало любителей скандалов и женских прелестей – понятно, в такие моменты поэтесса была похожа не на привидение, а на ночную бабочку.

Кстати, то, что говорила поэтесса мужу, слово в слово, даже еще мощнее, но в узком кругу повторял своей жене поэт Евгений Рейн:

– Я гениальный еврейский поэт, а ты русская б...! (понятно, в пылу жёнам и не то отчебучивают; в Англии вроде до сих пор есть закон, разрешающий и лупить жену, но до одиннадцати вечера, чтобы не мешать соседям).

Рейн обычно не говорит, а вещает; громовым голосом произносит категоричные, рубленые фразы (они как некие проповеди из загробного мира – их никто не смеет опровергнуть), но, будучи прекрасным собутыльником, громовержец,

выпив и размякнув, уже выступает менее пламенно, позволяет спорить с собой, оговаривается – «на мой взгляд»; бывало, даже подтрунивал над своими первыми стихами – «принёс Пастернаку уродливые стихи».

Известное дело, выискивать в человеке плохое не так уж и сложно, гораздо труднее разглядеть хорошее, и ко многому в Рейне можно придраться: к примеру, на вечере современной поэзии расхваливал дюжину еврейских поэтов и при этом не упомянул ни одного русского; но позднее, на вечере памяти поэта Юрия Кузнецова, сказал:

– Двадцатый век начался с Блока, а закончился Юрием Кузнецовым. (Такой крен в другую сторону.)

Кстати, Кузнецов вообще считал себя выше всех: «Я один, все остальные – обман и подделка».

В общении Рейн предельно внимателен ко всем литераторам, независимо от их возраста и значимости, и что особенно ценно – никогда не кривит душой. За это ему следовало бы дать похвальную грамоту.

Всего два раза я общался с Юрием Казаковым, лысым, носатым, губастым, очкастым увальнем с тяжёлой «медвежьей» походкой; оба раза он мне втолковывал, что является классиком и его книги давно потаскали из библиотек.

– Мою гениальную прозу перевели во всех странах мира, кроме Китая и Албании, – говорил он, заикаясь и не вынимая изо рта папиросу. – Валюты на зарубежных счетах полно, а рублей нет. Ты возьми мне сто грамм.

За выпивкой он рассказывал о своей даче в Абрамцево и участке с гектар, на котором сотни берёз, елей и «своя река» (через участок бежит ручей), о бане и старой машине, а узнав, что я с Волги, поведал о желании проплыть на барже до Астрахани, «и неплохо бы с бабешкой». После вторых ста грамм Казаков рассказывал о встречах с Паустовским, но больше о какой-то родственнице классика, с которой у него, то ли были, то ли будут отношения. И рассказывал о какой-то дамочке в Ленинграде, которая в него влюблена. Было ясно – у него повышенный интерес к слабому полу. Под конец он интересовался, как я «опутываю» женщин, и на мой вялый ответ «как все» переводил папиросу из одного угла рта в другой.

– А я ничего не говорю. Дарю свою книгу, на другой день они сами приходят.

В то время Казаков выпустил чрезвычайно сильную книгу «Голубое и зелёное», и я понимаю женщин – его книга произвела большущее впечатление на моё чёрствое сердце, и что говорить про нежные женские сердца!

Мятежный, заносчивый, воинственный, железный мужик (из него можно было делать гвозди) Анатолий Передреев – поэт с решительным лицом и холодным, пронизывающим взглядом – зычно чеканил:

– За мои гениальные стихи надо платить золотом! Об этом говорили и Смеляков, и Слуцкий, и Твардовский.

– Золотом! – как эхо вторили почитатели поэта, которые

постоянно волочили за ним.

Передреев страдал нарциссизмом, был пьяницей, психопатом, хамом, любителем драк и... по-настоящему большим поэтом – меня так его стихи просто-напросто пробирали до костей. Во время слёта гениев Передреев особенно проявлял свой ураганный характер и был главным зачинщиком стычек; утихомирить его никто не мог. Но случилось, в кафе появилась его юная дочь, манекенщица; он, шальная голова, сразу затихал и покорно следовал за своей наследницей (обо-жал её) – она выводила его из кафе за руку, как провинившегося мальчишку.

И всё же чаще распоясавшегося поэта останавливали более действенным методом. Как-то в Пёстром зале, кивнув на мужа И. Скорятиной (секретарши писательской организации), Передреев гаркнул:

– А это что ещё за г...о за нашим столом?!

Супруг Скорятиной был тихим скромным инженером – в тот вечер он просто зашёл за женой и впервые оказался в литературном обществе; на столь хамские слова он только и нашёлся, что плеснул кофе в морду поэту. Передреев сжал кулаки и вскочил, готовый ринуться в драку. К счастью, за столом сидел журналист и прозаик, автор исторических романов Юрий Фёдоров. Спокойный, немногословный, но чёткий в высказываниях, он являл собой пример выдержки и такта и тем самым гипнотически действовал на окружающих; при нём редко кто позволял себе бесцеремонные вольности, не

говоря уже о хулиганских выходках – не случайно все звали его по имени-отчеству, даже маститые литераторы (такая почтительность – исключение в клубе, где как раз панибратство, а то и открытое неуважение к возрасту и титулам – почти что норма). Так вот, этот Фёдоров в молодости занимался боксом и имел хорошо поставленный удар левой – тем ударом он и уложил Передреева на пол.

В другой раз Передреев начал хамить поэту Петру Кошелю (будучи у него в гостях!). Это выглядело особенно мерзко, поскольку больной, хромоногий Кошель не мог противостоять амбалу Передрееву, по-мужски поставить его на место. Но Кошель сделал это по-женски: когда Передреев допёк его, он огрел наглеца сковородой по башке, после чего тот уже вёл себя более-менее прилично.

Однажды мы выпивали у Кушака; Передреев прочитал свои последние блистательные стихи, и Кушак (вполне искренне) выдал залп похвалы. Я, потрясённый, тоже что-то вякнул. Внезапно Передреев залился пьяными слезами:

– Вы действительно так считаете?.. А я иногда сомневаюсь... Я ведь иногда очень не уверен в себе...

Я таращился на знаменитого поэта и недоумевал – как? И он в себе сомневается?!

В восьмидесятых годах в ЦДЛ появился новый отряд гениев. Именно в ту пору моими друзьями (и одними из лучших собутыльников) стали динамичные, всезнающие Николай Климонтович и Вячеслав Пьецух; они тоже по разочку

сообщили мне, кем являются на самом деле, да ещё объяснили, почему именно: первый – потому что «умней и образованней других», второй – потому что у него «новая проза – импровизации на тему» (а я-то, тёмный, считал, что истинное искусство – это прежде всего традиции, преемственность и, конечно, сюжетность). Этих прозаиков объединяла нешуточная мужская притягательность; и тот и другой ходили с высоко поднятой головой, стремительно, прямо-таки рассекая воздух; в застолье оба держались как нельзя лучше: говорили легко, без всяких затёртых словечек, их оценки были хлёсткие и точные, как попадание в десятку. Ну а контактный взгляд и полуулыбка-полуусмешка довершали дело – мужчины в их обществе меркли, а женщины на них так и висли и от волнения чуть не падали в обморок.

Ко всему и Климонтович, и Пьецух были профессиональными тусовщиками – без них не обходилась (и сейчас не обходится) ни одна выставка, презентация – и понятно, подобный житейский фейерверк для многих являлся предметом зависти.

Кое-кто находил в текстах Пьецуха всего лишь заливчатую журналистику и антироссийский уклон, а у Климонтовича к этому ещё добавляли самолюбование и откровенную, до пошлости, эротику. Я смотрел только на их мастерство – оно выгодно отличалось от общего потока писанины.

Однажды, в пик популярности Пьецуха, когда он чуть ли не ежедневно давал иностранцам интервью, я сказал ему:

– Ты своё дело сделал. Мемориальная доска тебе обеспечена.

– Да о чём ты! – махнул он рукой. – Это всё скоро кончится. Вот сейчас французы, американцы переводят – это да!

В другой раз, с потугой на шутку, я объявил Климонтовичу:

– Ты добьёшься оглушительной всемирной славы.

– Слава у меня уже есть, – пожал плечами мой друг, давая понять, что его слава – данность, о которой знают все, кроме меня, невежды.

– Но ты пока только известный, но не знаменитый, – гнул я своё.

– Для меня знаменитый, – встряла в наш качественный разговор жена Климонтовича, миниатюрная брюнетка с красивым голосом (она произнесла эти слова очень красиво, без всякой шутливости). – Он считает себя лучшим прозаиком на сегодня, и я так считаю.

Когда супруги ушли на какую-то очередную презентацию, художник Николай Пшенецкий, с которым мы сидели за столом, засмеялся:

– У Климонтовича есть конкурент – Пьецух. Тот тоже себя считает лучшим. Я не раз с ним выпивал в его загородном поместье. Он хороший мужик, вот только с барскими замашками: «Сбегай, купи поллитра!», «Приготовь обед, а я пока посплю!». Нашёл мальчика! Совсем офигел!

– Не расстраивайся, всё в порядке вещей, – сказал я. –

Приятели большого мастера и должны быть подсобными рабочими. Зачем ему тратить время на ерунду? А ты радуйся, что общаешься с великим человеком, дышишь с ним одним воздухом.

– У твоего Пьецуха все работы пропитаны желчью к России, – сказал мне сатирик Владислав Егоров.

Позднее я познакомил этих писателей, и Егоров повторил свои слова в глаза Пьецуху и добавил:

– Я написал на вас отрицательную рецензию.

В те дни вокруг Пьецуха была рекламная шумиха и на такие уколы он просто не реагировал. Он уже восседал в кресле главного редактора «Дружбы народов», имел персональную машину с шофёром, «вертушку» и даже пистолет, который ему подарила жена (преуспевающая галерейщица); этой опасной игрушкой мой друг частенько хвастался: в застолье доставал и клал перед собой, дуралей, – вероятно, давал понять, что намерен разговаривать с позиции силы.

Многие считали Пьецуха «демократом», а Климонтовича диссидентом (он, действительно, печатался даже в «Посеве».)

Крепкий орешек, мужик не из слабых, поэт Валентин Устинов всегда называл себя (и сейчас называет) «державником». В основе своей так оно и есть: он патриот, в лучшем смысле этого слова, и пишет о России прекрасные стихи (я называю его «мастером широкого мазка»); жаль только, не всегда сдерживает распирающее его самомнение. Малозна-

комым литераторам он может сказануть:

– Извини, но я не общаюсь с теми, кого не читал.

Начинающему поэту И. Голубничему при первой встрече заявил:

– Я лучший поэт России.

Спустя несколько лет Голубничий припомнил ему эти слова. Устинов усмехнулся:

– С тех пор я стал скромнее.

Среди знакомых державник заученно (без всякого головокругения от славы) вещает:

– Сейчас я в пятёрке лучших поэтов России!

Кстати, поэт Владимир Цыбин, имея на то серьёзные основания, говорил, что он замыкает пятерку лучших поэтов (и что они помешались на этой пятёрке?). Странно, но ни того, ни другого никто никогда не спросил – кто остальные четверо, хотя небезынтересно, кого они втискивают в этот блестящий набор.

Довольно заносчивый прозаик Борис Рахманин как-то написал неважнецкий роман с дурацким названием: «Господин Сперматозоид». Роман был объемный и увесистый, как утюг (сразу подумалось – если он упадет с полки на голову, может и прибить). Толстые книги наших писателей почему-то у меня вызывают страх, почему-то я считаю, что многописание – признак графомании. Наверняка я не прав, но ничего не могу с собой поделать – не только не могу одолеть кирпич, но и с самого начала вникнуть в суть написанного; потому и

закрываю книгу после двух-трёх страниц. Так получилось и с тяжеловесной прозой «Господина», который Рахманин мне подарил. Через некоторое время он спрашивает:

– Ну как? Что скажешь?

– Ничего не скажу, – вздохнул я. – Не смог втянуться. По моему, плохо.

– Ничего ты не понимаешь, – буркнул Рахманин. – Гениальный роман!

Известный поэт Игорь Шкляревский говорил А. Баркову:

– У нас есть три великих поэта: Евтушенко – первый, Вознесенский – второй, я – третий.

Как-то, играя в шахматы с неизвестным поэтом Владимиром Юр-шовым и явно проигрывая, он осадил партнёра (и, кстати, сверстника):

– Как ты смеешь называть меня на «ты»! Не забывай, кто ты и кто я!

Каким-то невероятным образом ему всё-таки удалось свести партию вничью, и, уходя, он тихо сообщил своей подружке, которая ждала его невдалеке:

– Я-то гений, сама знаешь, а он-то мелочь!

В другой раз, проиграв партию в бильярд, он огрел эту подружку кием по голове – в приступе восторга она что-то сказала под его горячую руку.

Неуравновешенный, нервный Шкляревский не ходил по ЦДЛ, а скакал; на посетителей смотрел пронзительно (прямо сверлил насквозь) и никогда никому не улыбался (даже

близким знакомым). Но, получив Госпремию, поступил благородно – отдал её на улучшение экологии своей Белоруссии, в отличие от всяких Ю. Семёновых и Т. Толстых, которые, дорвавшись до денег, всё загребли себе, причём Семёнов выкинул дешёвый трюк – перед телекамерами объявил, что гонорар за последний детектив жертвует (на какую-то ерунду), только редактор «Современника» Михаил Ишков сказал:

– Книга – пятнадцатое переиздание, и там копейки, а вот перед этим у него вышло собрание сочинений, там он хапнул будь здоров! Но об этом умолчал.

Невероятный болтун и хвастун Юрий Вигор без всякого стеснения все свои романы и рассказы (а также фельетоны, статьи и прочие писания) называет гениальными. Раз в год он звонит мне и часа полтора, без передыха, пересказывает содержание своих творений, при этом ударяется в разные ответвления – вкрапляет личные биографические подвиги, поездки в Англию и Данию, встречи со знаменитостями, КГБэшниками и девицами всех мастей, упоминает и про свою дачу на берегу озера, про машину «Волгу», про то, как руководил автосервисом, теннисным клубом, охотхозяйством, куда возил крупных начальников убивать кабанов и лосей, про торговые точки на Арбате и Черёмушкинском рынке, которые ему принадлежат и где нанятые им «соловьи» (продавцы с подвешенным языком) продают его опусы, а по вечерам сдают ему выручку... Остановить этот хвалебный поток невозможно – ссылаешься на дела, головную боль, а он:

– Нет, ты подожди, не клади трубку, дослушай! – и молотит дальше.

Такой пустозвонный гений.

Мой редактор (в «Сов. писателе») и друг, прозаик Александр Трофимов всегда сверхтребователен к современным литераторам, от него никто не ждёт пощады. Знаток зарубежной классики, он ко всем подходит с большим мерилом, на всё смотрит с заоблачной высоты. Тучный, с лохматой шевелюрой-гривой и огромной седой бородой, страшный интеллектual Трофимов внешне являет собой образ русских мыслителей девятнадцатого века. Далёкий от всякой житейской суеты, непробиваемый скептик, он любой разговор заканчивает с полной безнадёгой в голосе:

– Всё это суетно. Всё это тленно.

За этими словами, естественно, стоит: у меня-то глубинные движения души, у меня-то нетленные произведения, моя весомость в литературе сродни весомости классиков, меня ждёт грандиозная слава.

Не раз мы с Трофимовым крепко выпивали (после чего нас, как правило, заносило в какие-то случайные компании), но однажды встретились у ЦДЛ и на моё предложение освежиться, махнуть по сто грамм, мой друг категорично замотал головой:

– Лёнь, ты что?! Мне уже сорок, а у меня ещё нет романа. Надо спешить работать. Ты же знаешь, все гении рано умирали.

Роман об Андерсене он всё же написал – «единственный в мире», как объявил мне. (Сведущие люди говорят – читать невозможно.) Недавно я открыл какой-то журнал, где были короткие сказки Трофимова. Полстраницы занимало перечисление премий, должностей и званий моего друга – штук двадцать, не меньше!

– Обо мне в энциклопедии написано больше, чем о Троепольском, – позднее сказал Трофимов. – О нём две строки, а обо мне в десять раз больше.

Вот так вот! Думаю, мой друг уже занес ногу, чтобы встать на пьедестал.

Однажды прозаик А. Трапезников сказал мне:

– Ночью звонил Трофимов, просил приехать, сказал, что по ночам Бог посылает ему псалмы, а он не успевает их записывать.

Фантаст Владимир Григорьев открыто называл себя гением, при этом всегда добавлял:

– Гениальный человек должен быть богатым.

Ещё в конце пятидесятых годов, с целью разбогатеть, Григорьев приобрёл кинопроектор и два фильма: «Сестра его дворецкого» и «Джордж из Джинкинджаза», которые крутил у себя дома друзьям и знакомым... за деньги.

Бывший официант, курящий, пьющий балагур, знаток и исполнитель итальянских опер (в домашней обстановке), искромётный юморист Виталий Резников постоянно мне сообщал, что «написал гениальную пародию» или «выдал гени-

альную эпиграмму», но говорил это в дурашливой манере, ради шутки, а на мои поздравления нарочито вскидывал голову и возвещал нараспев, словно серенаду:

– Ты что?! Мне это ничего не стоит, вылетает само! У меня же золотое перо!

Такого рода «гениальность» можно принять без всяких оговорок – ну, то есть тех, у кого хватает ума подшучивать над своей славой. Невольно вспоминается Сенека: «Когда мне хочется посмеяться, мне не нужен шут, я смеюсь над собой». К слову, Резников всегда подходил ко мне, крепко жал руку, с душевной прямоотой импровизировал на тему «ЦДЛ – выпивка – женщины», но однажды прошёл мимо, не заметив. Я его окликнул:

– Ты стал знаменитым и уже не подходишь к старым друзьям?

– А я теперь с простыми людьми не здороваюсь. Я теперь общаюсь только с равными себе, с гениальными! – он засмеялся и обнял меня.

Что и говорить, гениев в Доме литераторов всегда было в избытке (когда-нибудь кто-нибудь основательно возьмётся за эту радостную тему), но пять лет назад, когда некоторые из героев этого очерка уже отправились в лучший мир, другие постарели, уgomонились и стали называть себя просто «talантами», а то и вовсе «способными», когда из гениев в клубе осталось всего ничего, не больше десятка, я подумал – ещё немного, и уйдёт всё наше поколение, и можно будет

уверенно сказать: «Прощайте, последние исполины!» Но не тут-то было – внезапно я заметил, что следом накатывает новый вал немислимых талантищ. Как раз в то время у меня появились новые приятели – молодые поэты Иван Голубничий и Максим Замшев, два неразлучных друга, даровитых красавца. Злостные курильщики и отчаянные выпивохи, они только вошли в литературу, но уже наделали немало шума. Как-то, поддавая с ними, я осмотрел Нижний буфет и сказал:

– Раньше здесь восседало много гениев, а сейчас вон только Рейн и Шавкута, да иногда заходят Зулфикаров, Пецух...

– Какие гении?! О чём ты говоришь?! – встревожился Голубничий.

– Гениев здесь всего двое, – прояснил Замшев. – Иван и я! Как-то в ЦДЛ зашёл поэт Владимир Друк и чуть не плача объявил мне:

– Закончил цикл таких стихов! Гениальных! Вся Москва зарыдает!

От некоторых приятелей-литераторов я никогда не слышал подобных захватывающих выступлений – ну, что они гении, громадные таланты и прочее, но их деятельность убедительней слов.

Мой давнишний товарищ, старшина колонии молодых поэтов Лев Щеглов демонстрировал магическое спокойствие, а для солидности ходил с палкой и носил бороду лопатой

и внешне напоминал библейских персонажей. Он постоянно подчёркивал, что старше меня «на целых четыре года», и предъявлял медаль, которую получил мальчишкой за тушение бомб-зажигалок (я только собирал их осколки). Вечно безденежный, Щеглов, когда за его стол подсаживались случайные посетители кафе, объявлял:

– Я поэт Лев Щеглов. И по знаку лев. Можно сказать, король поэтов, – и, кивая на бутылку сотрапезников, добавлял: – Обычно мне наливают те, кто сидит за моим столом (он всегда занимал один и тот же угол – вероятно, тянул на памятный знак).

Разумеется, случайные гости поспешно наливали поэту, а после того как он читал стихи, брали вторую бутылку и были счастливы, что вот так, запросто, выпивают с выдающимся человеком.

Другой поэт Лев Котюков недавно заявил:

– Перечитал Блока, его всего надо править!

Если же кто найдёт в стихах Котюкова погрешность, непременно услышит:

– Ты ещё не дорос, чтобы понимать мои стихи! Цени, что живёшь в одно время со мной!

Пишущий о цыганах нагловатый Ефим Друц беспрерывно расхваливает свои книги; просто так с приятелями не встречается – только по делу, «и телефон свой никому не даю – вот ещё! – будут отрывать от работы, и вообще...». Такой интересный аргумент одержимого таланта.

Поэт Александр Юдахин выпускает книги своих стихов, напичканные фотографиями: он в компании знаменитостей – обнимает Тарковского, Самойлова, Вознесенского, Искандера...

Мой друг и единомышленник критик Игорь Штокман выпустил книгу о Л. Бородине, где на обложке красуется собственной персоной (он прислушивается к мнению друзей, но я не успел отговорить его от этой затеи).

Так же своим портретом открывает книгу о Достоевском Игорь Волгин, бравый молодчик с кукольным лицом.

Другой мой друг, серьёзнейший до мрачности прозаик Борис Воробьёв, который, как Марк Твен и Хэмингуэй, держал в доме десяток кошек, составил живописный трёхтомник о животных и разбавил классиков своими произведениями, причём у Киплинга, Кервуда, Лондона, С.-Томпсона отобрал по одной повести, а своих впихнул две.

Ещё один мой друг, Михаил Ишков, написал исторический роман «Марк Аврелий», к которому поставил три эпиграфа: высказывания Цицерона, Марка Аврелия и автора(!).

Особенно надо отметить улыбчиво-нежного поэта Виктора Лунина – ему предоставилась возможность составить пять томов выдающихся детских поэтов. И он составил и издал: первый том – Маршак, второй – Чуковский, третий – Михалков, четвёртый – Барто, пятый – Лунин(!).

Вот так скромно, никем себя не объявляя, эти деятели поставили себя на одну доску со всемирно известными людьми.

Всё это напоминает замечательное изречение (кажется, Верди):

– В двадцать лет я говорил: «Я и Моцарт», в сорок – «Моцарт и я», а теперь, в шестьдесят, только – «Моцарт».

Насчёт скромности этих балбесов я всё же загнул. Скромно держится только Лунин. Из Друца так и прёт самовлюблённость, он без зазрения совести расшаркивается перед издателями и секретарями писательского Союза – им, разумеется, суёт визитки с телефоном.

Юдахин настырно пробивает свои книги и не упускает случая выступить перед публикой; как сказал поэт Яков Аким, «лезет везде, где его ждут и не ждут». Юдахин и еще один поэт (точнее рифмоплёт, пишущий холодные стихи, какие-то нарезки из не связанных между собой строк) В. Ковда, издали по двадцать(!) поэтических сборников; стряпают стихи по любому поводу, как блины. Об этих фонтанирующих мастерах все поэты отзываются крайне отрицательно; некоторые считают, что «их книги сразу после выхода следует отправлять в макулатуру».

Штокман недавно во всеуслышание со значением объявил:

– Я из немецких баронов! – и тем самым поверг в уныние своих друзей с обычной, не голубой кровью.

Ну а Воробьёв вообще не знает, что такое скромность, с чем её едят. Когда он подарил мне трёхтомник о животных и ткнул пальцем в свои повести, я возмутился:

– Ты что, спятил?

– А ты же не читал мою «Весьегонскую волчицу»! – заорал мой воинственный дружище.

– Начинал, не врубился.

– Вот, не врубился! А я за неё премию в журнале получил.

И невдомёк ему, что премии в нашем отечестве не показатель качества произведения. У Ахматовой, Булгакова, Заболоцкого не было никаких премий, а Льву Толстому и Набокову не дали Нобелевскую премию.

Но в плане самооценки всех моих друзей превзошёл самый стариннейший – Тимур Зульфикаров, поэт, сценарист, весельчак, умник и красавец.

– У меня полно гениальных вещей, – говорил он. – Я пишу глобальные, эпохальные, запредельные вещи. У меня двести стихотворений лежат отдельно – на Нобелевскую премию. Это ритуальные вещи. А мой фильм «Человек идёт за птицами» – в швейцарских подземельях на случай атомной войны. Среди ста шедевров, рядом с Чаплином и Феллини.

С Зульфикаровым мы познакомились, когда я ещё только появился в Москве. Уже тогда у него была сотня огненных стихов, сделанных с изощрённой виртуозностью, и уже тогда меня прямо-таки сразил блеск его бурлящего ума. Я помню его слова:

– Все наши литературные генералы – нули. Есть два поэта: Данте и я! Это так, Лёнчик, как ни произноси – громко или шёпотом.

Что странно, те же слова мой закадычный друг произнёс спустя тридцать лет – такая стойкая убеждённость многого стоит (и это несмотря на отрицательный отзыв о его творчестве Ф. Искандера). Спустя ещё десятилетие (в шестьдесят пять лет) на своём творческом вечере в Малом зале он вполне серьёзно заявил:

– В российской поэзии останутся только Пушкин и я!

А через несколько дней на вечере в доме-музее Л. Толстого не упомянул и Пушкина:

– В мировой литературе есть Гомер, Данте, Гоголь – «Мёртвые души», Толстой – «Война и мир» – и я!

Вот так. Понятно, мой друг давно чокнулся на своей гениальности, но что обнадёживает – он в свою компанию с Данте взял ещё троих; возможно, в будущем возьмёт ещё кого-нибудь – ну, хотя бы Шекспира.

Когда у Зульф리카рова вышла первая книга, он послал её известным литераторам, выбрав сто(!) фамилий (и как столько набрал?).

– И представляешь, Лёнчик, ни один не ответил, – с горечью сообщил мне. – Ни один! А меня приглашает к себе Антониони, предлагает вместе делать фильм.

Лет двадцать назад в Москву приехал знаменитый колумбиец Габриэль Гарсия Маркес; кроме литературных генералов его принимал Евтушенко и, чтобы компания выглядела поколоритней, пригласил на встречу Зульфикарова. В застолье Маркес рассказал, что долго не соглашался на экрани-

зацию «Сто лет одиночества», поскольку давали небольшой гонорар. Зульфикаров не выдержал:

– Мою повесть тоже хотят снимать и тоже дают крохи. Я тоже отказываюсь...

В начале перестройки, когда большинство честных литераторов село на мель, Зульфикаров отправил письма Ч. Айтматову, Р. Ибрагимбекову, послу Ирана – с просьбой выслать по тысяче долларов... Кто-то прислал – пару тысяч рублей.

Сейчас мой стариннейший друг с завидной практичностью находит спонсоров для издания своих книг и собирает подписи литераторов, чтобы его выдвинули на Нобелевскую премию – он не сомневается, что рано или поздно её получит. (Меня по-прежнему называет «Лёнчик» и добавляет: «Юность моя!»)

Поэт Эдуард Балашов советует Зульфикарову заранее написать письмо в Нобелевский комитет и отказаться от премии. Кстати, у Балашова неплохое чувство юмора, но иногда оно из него улетучивается. Дело в том, что он серьёзно увлекается буддизмом (даже встречался с Далай-ламой), но не отошёл и от христианства – то есть в нём постоянно борются Христос с Буддой и в зависимости от того, кто побеждает, он выдаёт бессмертные парадоксальные изречения:

– Нет прошлого и будущего, есть настоящее. (Хотя ясно: настоящее – продолжение прошлого.)

– Нет в мире зла, есть нереализованное добро. (Зло есть, и немалое.)

– После смерти наша душа попадает на Солнце. (Вероятно, чтобы поджариться.)

– Атланты были ростом восемнадцать метров. (Где же их скелеты?)

– В 49 году дьявол покинул нашу страну. Сейчас он на Сатурне. Так что Россию ждёт процветание. (Вот такая радость!)

Как-то мы сидели в Нижнем буфете – Зульфикаров, Балашов и я. В очереди искромётных сентенций Балашов высказал нечто захватывающее:

– Если в птицу попадёт стрела, она кричит не от боли, а от радости (имелось в виду – переносится в лучший мир).

– Гениально! – взорвался Зульфикаров. – Не возражаешь, если это я вставлю в свою поэму?

– Пожалуйста! – засмеялся Балашов, давая понять, что подобных гениальных мыслей в его голове пруд пруди.

Будучи безбожником и материалистом, я попытался заземлить своих друзей:

– А если в ваши задницы вклеить по стреле... или по пуле, вы тоже заорёте от радости?

Поэты посмотрели на меня как на тупицу, начисто лишённого воображения.

Однажды, ещё в юности, Зульфикаров поехал в Переделкино к Пастернаку: хотел показать мастеру свои высококачественные стихи. Помню, я страшно огорчился, что не могу составить ему компанию (спешил на работу), – в то вре-

меня я был одним из немногих почитателей невероятного таланта моего друга и каждую встречу с ним рассматривал почти как встречу с Богом. Нельзя сказать, что произведения Зульф리카рова (сложнейшей формы – вязкие стихи в прозе) изменили меня, тем более всю мою жизнь, но они вселили определённый настрой: мне захотелось сделать что-нибудь подобное в области живописи, и в этом мой друг всячески меня подогревал – как бы делился своей гениальностью.

А вот времяпровождению Зульфикарова (содержательному, полному чудес) я завидовал по-настоящему, пока не понял, что у него просто редчайший дар – умение расцветивать обыденность, делать чудеса из пустяков. Но это я понял спустя несколько лет, а в те годы во всём пытался подражать моему другу, брал на вооружение его манеру общения с людьми (с поправкой на свои условия и возможности), только у меня мало что получалось, моя унылая жизнь выглядела жалкой тенью его насыщенной жизни. Помню мой друг говорил:

– Лёничик, чтобы пробиться в Москве, нам с тобой надо жениться на москвичках из приличных семей.

Это он позднее и осуществил. Но я-то мечтал о «тургеневской» женщине.

Лет в пятьдесят Зульфикаров, узнав, что я так и не встретил «тургеневскую» женщину, провозгласил:

– Все наши с тобой, Лёничик, «тургеневские женщины» давно стали проститутками.

Ну, а из Переделкино Зульфикаров вернулся с ликующим видом – классик благословил его на новые подвиги.

– Вот что значит великий человек, – заявил мой друг. – Он сразу оценил мои вещи! Ведь я пишу не какие-то там ледяные стихи, не конъюнктурные однодневки, а глобальные, эпохальные...

Спустя несколько летя всё же побывал в Переделкино: выступил в роли телохранителя другого дружка – Юрия Дудина (он решил показать свои стихи ещё одному знаменитому поэту). Мы приехали в посёлок и застали мэтра гуляющим по аллее парка; он шёл неторопливо, хромая, опираясь на палку; его лицо было прямо-таки отмечено печатью талантливости и, если сказать похвалой, освещалось спокойным, ровным пламенем – благородством. Узнав, что мы к нему, он улыбнулся:

– Очень хорошо, молодые люди, пойдёмте на веранду... Вчера у нас здесь был ливень, а сегодня с утра, видите, солнце палит. На веранде попрохладней.

– Я хотел показать вам стихи, – сообщил Дудин. – Посмотрите потом, когда будет время?

– Зачем потом?! – удивился поэт. – Сейчас и почитаю.

С первой минуты меня поразила простота и доступность поэта. На веранде он попросил нас рассказать о себе и, пока мы несли что-то бессвязное, внимательно слушал, наклонив голову, изредка понимающе кивал. Затем взял у Дудина стихи, сосредоточенно прочитал, похвалил, а в одном месте

нашёл корявость и с мягкой деликатностью спросил:

– Может быть, здесь лучше вот так? – он мгновенно, каким-то волшебством, расцветил неудачные строки. – Не согласны? – серьёзно спросил и добавил: – Возражайте, возражайте. Вы же автор, а последнее слово всегда за автором. И как поэт вы должны отстаивать свои убеждения и взгляды.

Вспоминая эти слова, я думаю, что щедрость таланта не в том, чтобы рассыпать комплименты, а в том, чтобы, увидев огрехи, показать, как можно сделать лучше; ну и, конечно, в подарках – образов, сюжетов, неожиданных, но точных слов.

Потом наш знаменитый собеседник рассказывал о поэзии Востока, рассказывал вдохновенно, при этом поводил рукой, как бы дорисовывал образы в воздухе. Он прочитал два своих перевода, и даже я, несведущий, отметил, как он экономно и аккуратно использовал слова (от этого каждое звучало особенно сильно), но, говоря о переводах, поэт пожаловался, как они тяжело ему даются. Помню, именно в тот момент, ошалеv от впечатлений, я понял, что такое настоящая литература, что именно на классике надо оттачивать свой вкус.

Через некоторое время, прощаясь, поэт сказал:

– Поиск истины всегда труден. Здесь надо немалое мужество, – и улыбаясь, пожимая нам руки: – Берегите дружбу, это большая ценность.

Я чуть было напыщенно не брякнул: «Слово «дружба» для нас святое», но во время прикусил язык.

Вот так просто и замечательно в тот солнечный день мы

целый час провели в обществе действительно значительного человека. Его звали Арсений Александрович Тарковский.

Теперь-то мне ясно: по большому счету писатель тот, кто создал свой мир, остальные – просто литераторы. А гений тот, кто сделал открытие и выразил его так, как до него не выражал никто.

Кстати, многие наши истинные гении никогда не называли себя таковыми. Я где-то вычитал, что Чехов не очень высоко себя ценил как писателя, даже называл свои рассказы «дребеденью». Достоевский говорил: «Я пишу хуже, чем Толстой, но, конечно, не так уж плохо». Толстой, в свою очередь, говорил: «Чехов пишет лучше меня», а позднее: «Моя автобиография ценнее, чем все двенадцать томов болтовни, которую я написал». Набоков вообще считал себя прежде всего энтомологом, а уж потом писателем. Гоголь, увидев на полке среди классиков свою книгу, расшумелся и велел немедленно её убрать. Ну и как не вспомнить Пушкина, который писал издателю: «Сделал одну вещицу. Надо бы над ней ещё поработать, да деньги нужны». А эта «вещица» – «Борис Годунов»!

Как я вступил в десятитысячную армию писателей, с кем воевал, какие имею ранения и награды



КАК Я ВСТУПИЛ В ДЕСЯТИТЫСЯЧНУЮ АРМИЮ ПИСАТЕЛЕЙ, С КЕМ ВОЕВАЛ, КАКИЕ ИМЕЮ РАНЕНИЯ И НАГРАДЫ



В конце 50-х годов я работал художником в Институте океанографии, где «освежал» стенды с морскими животны-

ми, делал рисунки в энциклопедии и этикетки к рыбным консервам. Затем работал декоратором в театре Вахтангова, расписывал огромные «задники» — ходил по облакам, ландшафтам с замками. Главный художник театра С. Ахвледиани, рассматривая мою работу, выдавал похвалу:

— Ой, как всё хорошо! Ой, как всё замечательно! Но в правом углу надо всё потеплее. А в левом углу цвет надо понасыщенной... Ой, ну как всё хорошо! Но внизу надо ярче, мощными мазками...

Короче, приходилось всё переделывать. Тем не менее позднее С. Ахвледиани порекомендовал меня заведовать декоративной мастерской в театре Маяковского. Его рекомендация имела немалую силу: протягивая мне договор директор театра сказал:

— Сумму зарплаты поставьте сами, какая вас устроит.

Я поскромничал, и он увеличил цифру в два раза.

Это была самая высокая должность, которую я когда-либо занимал (под моим командованием было двое художников, молодых людей.) Главное, у меня появилось свободное время и я стал иллюстрировать детские книги.

С великими, затмившими солнце классиками детской литературы мне жутко не повезло; предположительно, в те дни они встали не с той ноги.

В начале шестидесятых годов открылся журнал «Детская литература»; мой закадычный друг Валерий Дмитриук стал его главным художником. Я торчал в редакции часами, благо

она находилась в двух шагах от мастерской-подвала Дмитрюка, где мы с ним корпели над детскими книжками. Однажды в редакции появился кумир нашего детства Николай Носов; журнал давал материал о нём, и писатель пришёл выбрать свою фотографию (накануне его щёлкал фотограф журнала). Сумрачно поздоровавшись, классик, словно привередливая кинозвезда, перебрал десяток снимков и все забраковал.

На следующий день ему прислали другого фотографа, но и новый фотомастер потерпел неудачу. Носов отверг трёх фотографов, измучил всю редакцию и в конце концов принёс снимок из домашнего альбома. Понятно, личность имеет право на капризы, хотя, по моим наблюдениям, это больше свойственно посредственностям.

Спустя неделю после случая с фотографией Носов вновь появился в редакции, появился в обеденный перерыв, когда сотрудники подкреплялись в соседнем кафе, а я, развалившись, покуривал за столом Дмитрюка, представляя себя в роли главного редактора. Мои смелые мечты прервал вошедший Носов. Поздоровавшись и спросив, где все, он устало опустил на стул, зашмыгал носом и тускло осмотрел комнату; на его лице появилась гримаса боли.

– Николай Николаевич, вы плохо себя чувствуете? – отважился я открыть рот, глядя на классика со священным страхом.

– Давно плохо, – он вздохнул и провёл ладонью по лицу. – Сейчас истинно русскому писателю тяжело. Сейчас распля-

сались разные Алексины, Яковлевы... Меня не печатают, замалчивают... — он хотел ещё что-то сказать, но гурьбой ввалились сотрудники во главе с громогласным бородачом Игорем Нагаевым.

Больше я не видел классика, но его обрывочные фразы врезались в память.

Прежде чем говорить о встречах с другими литературными богами, надо пояснить, как я стал литератором, как в моей, в общем-то ровной, жизни все пошло кувырком.

Впервые я взялся за сочинительство в далёком детстве — написал какой-то стишок про дождь (что-то про мокрых воробьёв на оконном карнизе). По пути на рыбалку прочитал стишок приятелю и спросил:

— Кто написал, знаешь?

— Знаю, — хмыкнул он. — Пушкин.

Я понял, что в поэзии достиг вершины, и больше, к счастью, стихов никогда не писал. И вот, работая с Дмитриюком в подвале, я время от времени стал пописывать детские рассказы — просто так, ради затеи, чтобы посмешить друга. Правда, смеялся он редко; приверженец сурового стиля общения, он на мой вопрос «Ну как?» — надувал губы:

— Ерунда!

Только однажды буркнул:

— Ничего, сносно.

Это у него была высшая похвала. Он славился откровением и в нашем тандеме имел главенствующую роль, потому я

верил ему безоговорочно и никому, кроме него, свои писания не показывал и не спешил тащить их в журналы («Куда торопиться? – думал. – Накатаю побольше, тогда и отнесу»). Бывало, делился с Дмитриюком тем, что ещё не записал, по ходу дела придумывая всякие новые штучки.

– Запиши, там посмотрим, – тянул мой требовательный напарник, – но вообще-то мелкоовато... для серьёзного разговора.

Нет, чтобы поддержать друга – он, гад такой, прямо сокращал моё жизненное пространство. Случалось, я и сам выбалтывался и терял интерес к теме. Ну, в общем, все эти мои трепыхания имели разогревовочный характер. Я догадывался, что серьёзная литература – это своего рода марафон и прежде всего самоограничение и одиночество, а я никогда не любил бег на длинные дистанции (короткие-то бегал с лентой), и ограничивать себя ни в чём не собирался, и одиночество переносил тяжело.

Однажды я иллюстрировал книжку Бориса Ряховского «Робинзонада» в «Молодой гвардии». Сделал отвратительно, из рук вон плохо (моё жуткое позорище, за него и теперь краснею), но вдруг литературный редактор книжки, интеллигентная старушенция Л. Хотиловская, выдаёт мне некоторое утешение:

– Вы как-то верно ощущаете текст. Уж не пишете ли сами?
От растерянности я нахально брякнул:
– Ага!

– Так принесите, что за ненужная скромность?

Я принёс ей пять-шесть своих писаний и отправился с друзьями в байдарочный поход. Месяца через два появился.

– Куда же вы исчезли? – почти вскричала Хотиловская. – Мне рассказы понравились, в них живая реальность, а не всякие умствования. Я отдала их в «Мурзилку» Анатолию Васильевичу Митяеву. Он чудесный человек, фронтовик, сам пишет сказки. Немедленно идите к нему.

Я и не подозревал, что мои очерки могут произвести такое впечатление, но понял: Хотиловская всерьёз решила сделать из меня писателя. Моё сердце учащённо забилося; немного сдрейфил, но быстро себя успокоил – вдруг одномоментно в моей душе что-то произошло, я почувствовал что-то вроде готовности к подвигу и подумал: «А почему бы и нет?» Приосанился и резво спустился на этаж ниже – в известный журнал.

Митяев встретил меня по-дружески и сразу огорошил – сказал, что один рассказ уже набирают, другой пойдёт осенью. Я пришёл в страшное волнение, у меня прямо перехватило дыхание, а Митяев, как ни в чём не бывало, стрельнул у меня сигарету, кивнул на соседнюю комнату и заговорщически объяснил, что сотрудницы запрещают ему курить: берегут его здоровье.

Мы проговорили часа два и, несмотря на разделявшую нас пропасть (в смысле возраста и жизненного опыта), нашли массу общего: и во взглядах на литературу (особенно на

русскую словесность), хотя я имел скомканную подготовку, и в привязанности к животным. Тот разговор стал моей отправной точкой; можно сказать, именно тогда Митяев определил мой дальнейший путь, зарядил на литературную работу.

– Митяев тебя сильно нахваливает, – сообщил мне художник Виктор Чижиков. – Говорит, в нашу литературу пришёл искренний прозаик, что мы о тебе ещё услышим, и прочее!

Митяев всех делил на «искренних» и тех, кто «старается быть модным». Последних печатал со скрипом. Самого вождя «Мурзилки» художники называли «искренним до сердечности», «человеком исключительной честности».

Так, дуриком, началась моя литературная стезя, такую я совершил загогулину в жизни и в те дни был рад без памяти – ходил по улицам вприпрыжку, еле сдерживаясь, чтобы не петь во всю глотку. Теперь-то я знаю, что к счастливым моментам надо относиться тихо – чтобы не вспугнуть, но тогда каждому встречному захлёб пересказывал встречу с Митяевым (зачем радость, если ею не с кем поделиться?).

Понятно, найти себя мне помог пустячный случай и два человека, которые внимательно отнеслись к тому, что я делал, вернее – разглядели что-то в моих первых (ясно, никудышных) опытах. Получается, надо совсем немного, чтобы быть счастливым, но попробуй это небольшое получи. На меня просто свалилась удача. Тогда я ещё не знал, что, втянувшись в новое дело, сильно осложнил свою жизнь.

В начале следующего года Митяев напечатал три моих рассказа и однажды сказал:

– Наша редакция решила дать тебе командировку в Артек. Нам нужен очерк о пионерах.

Я отказался. Во-первых, потому что, по слухам, Артек представлял собой показушный лагерь, на что у меня всегда была аллергия. Во-вторых, уже тогда я вооружился принципом: ничего не писать по заданию, только – к чему лежит душа.

Выслушав мои доводы, Митяев усмехнулся:

– Хорошо! Напиши о море, о горах, о чём угодно, к чему лежит твоя душа. Можешь вообще ничего не писать. Дай душе отдохнуть. Скажу тебе по секрету: в редакции есть лишние деньги, и командировка – награда тебе за рассказы. К тому же, ты будешь жить не в Артеке, а в Гурзуфе. Сейчас там Голявкин, известный писатель из Ленинграда, знаменитый художник Глазунов и нашумевший скульптор Неизвестный.

Из-за этой прославленной троицы я и поехал.

До Гурзуфа добрался поздно вечером, по тропе спустился с шоссе к гостинице и увидел в вестибюле десятка два приезжих с детьми.

– Мест нет! Мест нет! – кричала администраторша.

Я протиснулся к её окошку, сказал, что из Москвы и мне забронирован номер.

– Ничего не знаю! Никто не звонил! – отчеканила администраторша. – Мест нет! Женщин с детьми не могу устро-

ить, а то вас! Скажите спасибо, что разрешаем ночевать на диванах.

Я вышел покурить. Передо мной простирался ночной Гурзуф: цепочки огней, сверкающая под луной бухта, силуэты людей среди листвы. Воздух был гоющий и сладкий, как компот. Докурив сигарету, я подумал: «может быть, из Москвы послали телеграмму?» и снова подошёл к окошку.

– Никакой телеграммы нет, и свободных мест нет, – устало проговорила администраторша. – Один номер есть, но ждём писателя. Он вот-вот прибудет. Вам можем поставить раскладушку в коридоре, но за плату.

Горничная, застияя раскладушку, пожаловалась:

– Сейчас самый сезон, огромный наплыв отдыхающих.

– А чайку, мамаша, нельзя? – спросил я.

– Какого чайку! Скажи спасибо, что раскладушку-то выделили.

Я уже почти уснул, как меня разбудила администраторша:

– Давайте паспорт, надо вас записать.

Через десять минут она вернулась:

– Так что же вы сразу не назвались?! Это ж мы вас ждём!

Вот ключи от номера, пожалуйста, проходите, отдыхайте в своё удовольствие, – и бросила горничной: – Принеси писателю чай с вареньем!

Так я стал писателем.

За три дня, проведенных в Гурзуфе, я ничего не написал, думал: «главное набраться впечатлений, в смысле – было б

что-то в голове, а записать недолго». Зато за эти дни я выпил дюжину бутылок вина с Голявкиным, слушал рассуждения Неизвестного об искусстве и о жизни вообще да болтал с Глазуновым, одновременно любуясь загорелыми девушками, которых он рисовал. В общем, неплохо провёл время.

Года через два, когда «Мурзилка» уже напечатала штук восемь моих рассказов, Хотилловская сказала мне:

– Я попросила Льва Абрамовича Кассиля дать заключение на ваши рассказы. Для формальности. Чтобы вставить книжку в план (вначале с перепуга я подумал, что она шутит, ведь о такой безумной идее и не мечтал – это было головокружительное сообщение, у меня прямо затряслись ноги). Немедленно поезжайте к мэтру. Он добрый, милый человек.

Испытывая праздничный ужас, я помчал сломя голову к классику. Открыв дверь, Кассиль одарил меня сдержанной улыбкой, провёл в кабинет, показал на стул (он обитал в роскошной квартире, обставленной антиквариатом, – не зря же нился на дочери Собинова).

Как и подобает классику, мэтр с важным видом уселся в кресло, откинулся и, демонстративно подчёркивая своё величие, начал листать мои вещицы. Я прямо вжался в стул и застыл, ожидая приговора. Мэтр кое-где размашисто, словно совершая какое-то священнодействие, черкнул карандашом и изрёк:

– Здесь подумайте, сделайте лучше, – а отложив рукопись, выдал благословенные слова: – Общее впечатление хорошее.

Завтра напишу отзыв. Позвоните.

Домой я возвращался страшно довольный собой; помнится, даже напевал победоносный марш.

Чтобы не быть навязчивым, я позвонил через несколько дней и услышал: «Написал, сейчас отправлю». Прошёл месяц, Хотиловская меня спрашивает:

– Где отзыв? Позвоните ещё. Мэтр мог забыть, но он добрый, милый человек.

Выдержав паузу с неделю, я вновь набрал номер Кассиля (уже предчувствуя некоторые осложнения с рукописью). В трубке услышал:

– Вчера написал, только что отправил...

Больше я не звонил. Ни через месяц, ни через год отзыв не пришёл. А потом моя благотельница уволилась, и книжка в план не попала. Вот так мне дьявольски не повезло, и, разумеется, я пригорюнился – да что там! Так расстроился, что сразу похудел на пять килограммов.

Признаюсь, спустя десять лет я подумал: хорошо, что Кассиль меня обманул, ведь теперь его отзыв посчитал бы постыдным фактом. Ну какой он классик? Всего лишь безмерно раздутый литератор; его вещи не только не совершенные, но и попросту слабые. В своё время такие, как он, изо всех сил свидетельствовали преданность власти, и та их пригрела. (Он выпустил сотни книг по соцзаказу.) Со слов писателя А. Баркова, известно – Л. Кассиль делал всё, чтобы не издавали даже В. Драгунского: «Этот писатель не будет печататься в

Детгизе, пока я жив». Такой был «добрый, милый» классик.

Дальше моя опасная, неустойчивая литературная стезя развивалась ещё прискорбней. Кто-то надоумил меня сходиться в Детгиз, и я вляпался в историю – припёрся туда не вовремя: редакторы пили чай, одновременно листая рукописи. Увидев такое литературное чаепитие, я попятился; поболтался с полчаса в коридоре, потом снова заглянул. Все редакторы, как по команде, склонились над столами.

Я прямо оказался в мёртвой зоне, но, потоптавшись, всё же спросил у крайней женщины, кому можно оставить рукопись.

– А вы кто?

Я назвался. Повисла долгая тишина.

– Ну, Инна, возьмите рукопись, – наконец сказала женщина, сидящая у окна (заведующая редакцией Л. Либет, как я узнал позднее).

– Ну почему я? Как новый автор, так я!

– Ну возьмите вы... – сидящая у окна обратилась к другой редакторше.

– Я не могу. Вы же знаете, мне сдавать большую рукопись.

Так отфутболивали меня минут десять, потом сидящая у окна сжалась (видимо, у меня был нерадостный видок):

– Ну оставьте. Позвоните через месяц. У нас много работы.

Через месяц я позвонил. Либет с прохладцей сказала:

– Нет, ещё не смотрела. У нас много работы. Позвоните

через две недели.

Через две недели на мой звонок сообщили, что она ушла в отпуск.

После её отпуска я услышал в трубке:

– Не знаю, куда делась ваша рукопись, всё обыскала. Но невелика беда. У вас есть второй экземпляр?

Второй экземпляр она прочитала месяца через два (двенадцать страниц!).

– Ну что можно сказать? – тяжело вздохнула, когда я появился в редакции и уже приготовился достойно встретить удар. – Издать книгу – сложное дело. Вы ведь не член Союза писателей. У нас есть редакция по работе с начинающими авторами. Идите туда. И вообще, почему мы первые должны вас печатать? (На этот дурацкий вопрос я и сейчас не смог бы ответить.)

Помолчав, Либет продолжила:

– Вначале надо печатать рассказы в журналах, а уж потом думать о книге.

– Но они уже напечатаны в «Мурзилке», – вставил я.

– Как? Не может быть! – в её голове явно начались какие-то мучительные процессы.

– Представьте себе, – хмыкнул я, уже готовый забрать рукопись и уйти из издательства навсегда (это «не может быть» у меня долго звучало в ушах).

– Ну оставьте, я ещё раз посмотрю и позвоню.

Детгиз мурыжил меня ещё полгода; было ясно: Либет по-

ставила себе задачу – максимально затруднить моё вхождение в литературу и вообще исковеркать мою жизнь. Так и не дождавшись её звонка, я припечалился и явился в редакцию за рассказами. Вялым голосом, с полудохлым видом, Либет объяснила, что к чему:

– Понимаете, ну, может, в отдельности рассказы и ничего, но все вместе... Книжки нет, – и дальше ещё хлестче: – Всё какое-то расслоённое, несобранное, неорганизованное, не прописанное, непродуманное.

Этот набор общих, ничего не значащих слов, конечно, не убил меня наповал, но нанёс чувствительный удар и сильно заморочил голову. По молодости я, дурак, поверил этой Либет больше, чем Митяеву и Хотиловской, а хвалу художников И. Бруни, В. Перцова, Е. Монины, которые иллюстрировали мои рассказы в «Мурзилке», и вовсе перестал брать в расчёт (в то время я много наделал ошибок, но эта одна из главных). И, не скрою, приуныл – да чего там! – тяжело переживал поражение, свой позорный провал. «Куда полез? – бичевал себя. – Думал, иду по дороге, а оказалось, всего лишь топаю по тропе. Яснее ясного – не потяну то, на что замахнулся, ещё не готов к этой работе и вряд ли вообще в литературе что-нибудь смогу». Помню точно, в те чёрные дни постоянно видел один и тот же сон: меня обвивает и душит гигантский удав, а морда у него – точь-в-точь этой самой Либет.

А в «Детском мире» меня никак не хотела печатать редак-

тор Б. Цыбина, несмотря на три(!) положительные рецензии. Она твёрдо смотрела мне в глаза и говорила с неприкрытым удовольствием, улыбаясь:

– Не нравится. Ничего в них не вижу.

В то время Мазнин работал в одной редакции с Цыбиной, он при мне говорил ей:

– Беана, прочитай ещё раз. Рассказы хорошие, прочитай внимательней.

Но она мотала головой:

– Нет, нет, – и, забавляясь, раскачивалась, только что не танцевала.

Я пялился на неё, надеясь услышать что-то конкретное, но она явно поставила на мне, как на литераторе, крест и, как бы читая надгробие, причмокивала: «Не нравится» – и улыбалась, давая понять, что я вообще случайно затесался в компанию детских писателей. Причину объяснила сочувствующая мне заведующая соседней редакцией Е. Карганова:

– Она вас не будет печатать. Даже не будет смотреть рукописи. Её авторы – Сапгир, Холин и им подобные... Но вы пишете лучше их и не слушайте её (под словом лучше, как я теперь понимаю, она имела в виду «реалистичней, более понятно детям»). Эта последняя фраза немного приободрила меня, но я решил, что Карганова произнесла её, просто чтобы я не опускал руки (но я опустил, и опять мне снился удав – уже с мордой Цыбиной).

Мой друг Геннадий Цыферов был ещё откровенней Каргановой:

– Зачем Беане (Цыбиной) тебя печатать? Ты ж не её национальности, хе-хе. Она издаёт только своих и вообще давно одной ногой в Израиле. А меня печатает, потому что я соавтор Сапгира... Так что это не просто вкусовщина, нравится – не нравится.

Трудно было поверить в такую избирательность, но дальнейшее, как это ни печально, подтверждало слова Каргановой и внушительную речь Цыферова.

Заведующая подростковой редакцией «Молодой гвардии» А. Алексеева, довольно оплывшая особа – да попросту корова в очках, при упоминании моей фамилии брезгливо морщилась и мотала головой (и это при том, что ничего обо мне не знала и ничего моего не читала – видимо, ей просто не нравилась моя физиономия). Этой поганке было мало двух положительных рецензий на мою рукопись, она отправила её на третью. И куда? В Ригу! Невиданный случай! Отправила «своему» автору на «заказную» отрицательную рецензию (как я узнал позднее – некоему Зеркальцеву, секретарю комсомола и по совместительству писателю). Узнав об этом, искушённый Цыферов рассмеялся.

– Чего ты туда поплёлся?! Тебе там ничего не светит. Адэль (Алексеева) – задрыга, скрытая сионистка. Я к ним вообще не хожу... Сейчас её Яков Аким пропихивает в Союз писателей. Писательница, хе-хе! Весёлый сюжетик... – вооду-

шевлённый этим фактом и моей бестолковостью, Цыферов повысил голос: – Все детские редакции оккупировали евреи. Их Маршак собирал со всей страны. Меня в Детгизе на дух не принимают, ни одной книжки не издали... Там всем заправляют Арон, Доукша, Самуил Миримский, Либет и их главный – Борис Камир. Стас Романовский знаешь, что сказал этому Исааковичу? «Вы Моше Даян в России, душейте русскую литературу». Они печатают всяких Эппелей, Эдельманов... Либет даже навязывает Дехтерёву (главному художнику) своих художников евреев... Кабакова, Пивоварова – ну этих, у кого консервные банки на холстах...

А. Барков выразился ещё доходчивей:

– Возьми сто книг Карла Арона – ни одной русской фамилии не найдёшь. Он снимал у меня целые куски из повести, говорил: «Здесь пахнет Белой гвардией. А здесь антисемитизмом». В конце концов рукопись завернул. Семён Сорин недавно сказал мне: «Саша, если бы ты поменял национальность, я отвёл бы тебя в «Юность», там у меня все свои».

Кстати, вторую мою рукопись («Все мы не ангелы») Алексеева мариновала около года; потом отдала критику О. Грудцовой, которая, по словам Цыферова, была «ещё более яркой сионисткой, чем Алексеева». Грудцова написала: «Где автор видел такую советскую молодёжь? Посмотрите, что автор пишет о себе!» (Повесть – от лица героя, и она, очевидно, не знала, что герой и автор – разные люди. Такая критикесса!) Прочитав эту дурь, я перестал воспринимать критиков как

всезнающих оракулов, ну а Алексеева, понятно, мне снилась в образе очкастой коровы.

Раз уж заговорил о таком явлении, как национальная принадлежность, упомяну и редактора О. Ляуэр из «Советского писателя», далеко не оплывшую, даже симпатичную особу. Я принёс в издательство рукопись, когда уже был членом Союза писателей и имел не только дюжину детских книжек, но и пару взрослых. После положительной рецензии писателя В. Цыбина и попросту хвалебной критика В. Сурганова рукопись вставили в план и мне в редакторы назначили эту самую Ляуэр. И вдруг она выдаёт разгромное заключение, при этом поступает довольно оригинально – рецензию писателя не упоминает вообще, а из рецензии критика выдёргивает всего одну строку: «Вот и критик В. Сурганов пишет, что автор взял далеко не новый сюжет, который использовали многие писатели».

В самом деле, Сурганов так написал, только после запятой продолжил: «...но автор раскрыл его совершенно необычно, с поразительной эмоциональностью... Перед нами – хорошая, добротная русская проза, произведение, отмеченное печатью самобытности несомненной и очевидной». И дальше куча эпитетов в превосходной степени и настоятельная рекомендация издавать рукопись.

Я привёл слова критика вовсе не для того, чтобы пощекотать своё самолюбие – только чтобы показать свинство редакторши. А моя рукопись, которую она зарубила, позднее

вышла благодаря другому редактору – поэту и прозаику Игорю Жданову. Этот момент Ляуэр упустила из вида (а то бы мне несдобровать!), поскольку в то время активно пробивала рукопись своего мужа-соплеменника. Я был свидетелем, как она организовывала рецензии, вставляла рукопись в уже утверждённый!) план, выкинув из него какого-то беднягу, как выбивала договор и гонорар – будь здоров какой! Издав три толстенных книги мужа, она с ним благополучно укатила в Израиль. Понятно, уезжают те, для кого карьера и материальная сторона важнее привязанности к родине. (Раньше прикрывались – будто их зажимают, а теперь, когда они захватили и высшую власть, открыто мстят русским).

Ну да к чёрту этих редакторш. За давностью времени можно было бы и не держать на них зла, если не думать, сколько они утопили рукописей, скольким «не своим» авторам отравили жизнь. И это не мои предположения. (Для справки: за прошедшие сорок лет появился целый косяк детских писателей, среди них только двое русских. Неужели так измелечал наш народ?) К слову, Ляуэр ни в образе удава, ни в образе коровы мне не снилась – в те дни я неутомимо волочился за женщинами и в снах представлял себя на необитаемом острове в окружении красоток.

Вернусь в детскую литературу. Получив жёсткие отказы сразу в двух издательствах, я сник, обозвал себя слабаком и неудачником и, как всегда в тяжёлые минуты, обратился к Богу: «Если ты есть, помоги!» Он не помог, и я занялся само-

копанием – поставил перед собой вопрос: с чего ты взял, что можешь писать, ведь нигде этому не учился? Получалось – взглянул на себя в зеркало и решил, что могу; полез не в своё дело и поплатился. Короче, в те проклятые дни всё пошло кувырком – я разуверился в себе, сильно упал духом и на какое-то время забросил литературные упражнения. А потом история повторилась. Я иллюстрировал детскую книжку в «Сов. России», и литературный редактор Н. Степанян, оказалось, читала мои рассказы в «Мурзилке», она и сказала:

– Принесите всё, что у вас есть.

Я отобрал целую папку рассказов и очерков. Помню, так нервничал, что в троллейбусе споткнулся, папка шлёпнулась на пол, раскрылась, и от сквозняка мои листки полетели по всему салону; мне помогали их ловить, невзначай комкали и топтали входящие и выходящие пассажиры.

– Не расстраивайтесь, молодой человек, – сказала одна интеллигентная женщина. – Это хорошая примета.

В самом деле, примета сработала. Степанян отобрала из заляпанных листов большинство рассказов и отдала их на рецензию Ю. Сотнику, а после его положительного отзыва предложила мне сделать к рассказам и рисунки – предложила так просто, словно это само собой разумеется и речь идёт всего лишь об этикетках. К счастью, мне хватило мозгов отказаться. Рисовал книжку В. Перцов, и, естественно, его иллюстрации были несравнимо лучше моего текста – так, как сделал он, я никогда не смог бы сделать, об этом и говорить

нечего. В чём в чём, а в рисовании я всегда прекрасно знал, на что способен, на что нет.

Понятно, первая книжка – огромное событие (можно сказать, великое свершение) для каждого из пишущей братии и, ясно, сопровождается фонтаном чувств. Помнится, ту книжку я долго перелистывал, разглядывал и так и сяк, только что не облизывал.

Ну а потом Н. Степанян, добрая душа, издала ещё две мои книжки, но главное, каким-то странным образом заставила меня поверить в свои силы – так что до гроба ей благодарен! С кричащим восклицательным знаком!

Помню необычную встречу на книжной выставке. Ко мне вдруг подходит Либет, та самая завредакцией из Детгиза.

– Читала вашу книжку (назвала какую). Вы стали хорошо писать. Заходите, приносите нам что-нибудь.

Смешно, она назвала рассказы, которые сама же зарубила три года назад. Я не изменил в рассказах ни слова, ни одной запятой.

В Детгиз я не пошел. Туда (в другую редакцию – к Т. Жаровой) спустя несколько лет меня вернул поэт и критик Владимир Приходько – он сам отнёс мои рукописи и расхвалил безмерно (его тоже благодарю от всего сердца).

А затем со скрипом, но всё же меня издала и Либет. По поводу моей рукописи от неё только и сыпались придирки: «непрописанное, непродуманное, много главного героя...». После такой требовательности я был немало удивлён, когда

книжка вышла не с моим отчеством.

– Ну ничего, – сказала Либет. – У нас недавно Тургенев вышел как Иван Семёнович.

Вот так. Ни ума, ни такта. Новое отчество «Антонович» меня совершенно не огорчило, но за Тургенева было обидно.

Кстати, и Цыбина, обосновавшись в Израиле, как-то объявилась в ЦДЛ и подошла к нашему столу (к тому времени у меня уже вышло несколько книжек и парочка продавалась в холле ЦДЛ). Я сидел с писателями, которых она знала гораздо лучше, чем меня, но почему-то обратилась именно ко мне:

– Как, Лёня, ваши дела? Как поживаете? (И с чего бы вдруг забеспокоилась? То ли была удивлена, что я ещё жив, после того, как старательно перекрывала мне кислород, то ли в ней проснулись запоздалые угрызения совести?)

Сейчас-то я послал бы её к чертям собачьим, а тогда, оторопев, пробормотал «неплохо», ведь тоже был удивлён – и не столько обращением ко мне, сколько жалким видом некогда могущественной редакторши (по слухам, на исторической родине ей не очень везло).

Теперь, когда расправился со своими обидчиками, можно вернуться и к классикам, но, пока не забыл, ещё немного вдогонку о Приходько, который, кроме меня, впихивал в литературу ещё несколько поэтесс (меня под зад коленом, а их – поглаживая по этим самым местам). Он также вытащил на свет не одно забытое имя, что, понятно, благородное де-

ло. Честно говоря, я думал: он просто чрезмерно восторженный человек, оказалось далеко не так. Например, он громил и Успенского, и Кушака, да и многим другим от него доставалось – он имел странно направленный вкус и, если уж ему что нравилось, отстаивал с пеной у рта; иногда это выглядело заскоком: не раз он вдалбливал нам, что Холин – гений, – ну серьёзный литератор станет такое молоть? По отношению ко мне у него был явный бзик – он взял себе роль моего крёстного. Не раз мне сообщали:

– ...Недавно в одной компании тебя начали поливать, но Приходько сразу вспыхнул: «Оставьте Сергеева в покое!» Но в глаза мне крёстный говорил немало гадостей:

– Лёня, ты полный дурак. Тебе не оценить такую женщину, как Юля (или Катя). Ты ничего не понимаешь.

Или:

– Лёничка, дорогой, пошёл ты на х... со своими друзьями. Все они идиоты, и ты идиот. Ты ничего не понимаешь. Пиши лучше свои рассказы и не лезь туда, в чём ничего не петришь.

На моих днях рождения, не стесняясь незнакомых ему людей и моих женщин, Приходько выдавал одно и то же поздравление:

– Сергеев – алкоголик, бабник, сумасшедший, но он хороший писатель, не оценённый по достоинству...

Я съеживался от неловкости – вроде ещё не умер, а уже зачитывают эпитафию, хотя, не скрою, его заключительные слова мне нравились.

Одно время в ЦДЛ ходил упорный слух, будто Приходько сотрудничает с КГБ и не случайно, мол, редакторши Детгиза заискивают перед ним. Поэт М. Синельников не раз мне говорил:

– Знаю точно: Приходько – кагэбэшник.

Многие считали и Мазнина стукачом, а полусумасшедший литератор Э. Карпачёв написал на одной из стен ЦДЛ: «Кушак – кагэбэшник». Но это уж чушь собачья. Просто в недавнем прошлом подозрительность доходила до идиотизма. Позднее тот же Карпачёв мне звонил и срывающимся голосом сообщал, что «КГБ его облучает». Меня куда-то занесло, хотел-то о классиках, исторических фигурах.

Ну так вот, с Анатолием Алексиным мы несколько раз общались в Доме литераторов, сидели втроем: классик, Коваль и я; мы с Ковалём пили водку и болтали о всякой всячине, а Алексин потягивал сок и с глубокой скорбью на лице, как будто он с похорон, тихо, вкрадчиво изображал самого несчастного на свете – жаловался на здоровье и семейную жизнь, на то, что раньше нельзя было писать «ни о том, ни о сём», даже пожаловался на безденежье – «приходится продавать мебель». Тут уж Коваль его остановил:

– Но, Толя, ты же катаешься по заграницам (они были на «ты»). Тебя только в Америке десять раз издавали, а нас с Лёнькой ни разу, едрёна вошь! А мы, между прочим, тоже не последние писатели. Я, к примеру, посильнее и Петрушевской, и разных Пьецухов, а Лёнька пишет, как я (он всегда

завышал меня).

– Да, дорогие мои, – бормотал Алексин. – Я всё делаю, чтобы печатали молодых. В следующий раз в Америке договорюсь обязательно.

И договорился. Издал свои бессмертные творения в Америке в одиннадцатый, а потом, тихой сапой, и в двенадцатый раз (такая у него хватка). И опять нам с Ковалём жаловался, приbedнялся с фальшивой искренностью, выдумывал трагедии. (Его жизнь постоянно оказывалась тяжелее, чем у всех. Попутно замечу: сейчас, проживая в Израиле, он катает мемуары – как ему трудно жилось при коммунистах и всё такое; по словам А. Баркова, перед отъездом украл из Детского фонда миллион рублей.) И как он, классик хренов, не понимал, что нытиков не любят, что у всех есть неприятности, но не все о них скулят. Тем более, что его неприятности высосаны из пальца.

По словам художника Льва Токмакова, который прекрасно знал Алексина, в своё время классика, «как своего по крови», сильно проталкивал Кассиль.

– Алексин – мерзкий человек, – говорил Токмаков. – Жутко хитрый и лизоблюд. Как-то сижу у него. Заходит молодой автор. Он берёт со стола папку с рукописью этого парня, «Прочитал», – говорит и ругает парня на чём свет стоит. Когда парень ушёл, Алексин махнул рукой: «Этот – с улицы, – и нежно погладил вторую папку: – «А это сын прокурора написал, надо немного поправить».

А. Барков, тоже неплохо знавший Алексина, усмехался:

– Когда его приглашали выступить перед детьми, он заламывал большие суммы. Детский писатель, называется!

Что кроме беспочвенных страданий запомнилось от застолий с Алексиним, так это какая-то сентиментальная муть, которая его окружала. Он явно интересовался женщинами (так и рыскал глазами от одной к другой), но пытался скрыть свой интерес; явно хитрил, когда жаловался на судьбу, изображал беззащитную овечку, пытался предстать борцом за детскую литературу. На самом деле боролся за своё благополучие, и вполне удачно: был секретарём Союза писателей, имел кучу орденов и премий, входил во все фонды, комиссии и делегации (и как одна кобыла столько везла?).

Кстати, у каждого секретаря Союза автоматически выходило собрание сочинений, которое непременно переводили все союзные республики – это давало возможность спокойно здравствовать десятки лет, и не только это, конечно.

У Алексина были холёно-пухлые щёки, томный взгляд и вкрадчивый голос; когда я смотрел на него, аморфного, в голове почему-то вертелось: «Человек с таким бабьим лицом не может быть хорошим писателем».

Алексин хотел остаться в памяти потомков не только классиком, но и защитником детских писателей. Он не скрывал своего прицела:

– Так хотелось бы, чтобы ваше поколение отметило мою тяжелейшую борьбу, мои заслуги.

Не знаю, чем ответит на его призыв всё моё поколение, но я ни одной книги Алексина так и не одолел – по-моему, они просто скучны. И, кстати, прозу Кассиля закрывал после первых же абзацев. Как ни пытался выцарапать лучшее в их работах, ничего не нашёл – обычная конъюнктурная писанина, банальная размазня. А вот Носова перечитал, будучи взрослым, и впечатление было не менее сильным, чем в детстве.

Агния Барто всегда опаздывала на редколлегию в журнал «Детская литература» – приходила, когда уже вовсю шли выступления; при её появлении раздавались возгласы:

– А вот и Барто!

И все благоговейно взирали, только что не вскакивали и не аплодировали. Я думаю, это торжественное явление было чётко продумано (чтобы привлечь особое внимание), и поэтому имело соответствующий эффект.

Художники, которые иллюстрировали Барто, не раз жаловались, что «Бартиха» донимает их требованиями, а молодые сподвижники по цеху были недовольны, что она разговаривает излишне строго, не терпит возражений, всячески дает понять, что ее слова и есть сама истина; хотя тех, кто ей льстил, она «нянчила» (в частности, Мазнина и Кушака).

Однажды мы с Мазниным провели целый вечер в обществе Барто (я, собственно, был сбоку припёка); она рассказывала, как занимается воссоединением семей, разрозненных войной (позднее выяснилось, что это благородное дело ей

нужно всего лишь для саморекламы). Я жадно слушал Барто, а Мазнин постоянно встревал, в порыве любви-обилия и так и сяк превозносил поэтессу, прикладывал её руку к своему сердцу, к щеке, но она его не останавливала, боялась задеть высокие чувства поэта. Само собой, ей были приятны излияния поклонника; она даже не испытывала неловкости передо мной, случайным слушателем. В конце концов, налив глаза, Мазнин переборщил – стал пороть всякую чепуху и целовать поэтессе руку:

– ...Агнюша великая, гениальная!

Тут уж я не выдержал:

– Игорь, перестань! Ну что ты, в самом деле!

– Да, Игорёк, пожалуйста, не надо, – слабо запротестовала Барто, а в мою сторону бросила тяжёлый взгляд.

Спустя некоторое время в клубе я сидел с совершенно неизвестным детским поэтом Павлом Барто, бывшим мужем знаменитой поэтессы (потомком французских маркизов).

– И чего все носятся с ней? – недоумевал поэт. – Я выдающийся, а не она. Её просто вознесли на пьедестал, и она, негодница, ещё мою фамилию эксплуатирует.

Барто не раз восклицала:

– ...И что я взяла эту дурацкую фамилию?

Но, со слов того же Токмакова, когда он с Барто был в Париже, она с гордостью называла себя «маркизой».

Позднее я узнал (от Тарловского), что Барто когда-то напечатала под своей фамилией стихотворение молодого по-

эта Денисова из Куйбышева, точнее, обработала его стихотворение до удобоваримого варианта (стихи она получила на рецензию). Поэт бесновался, писал жалобы в Москву, но ответа не получил. Понятно, Барто заслужила серьёзных упрёков, но, с другой стороны, дети получили не рыхлую, а крепкую, профессиональную вещь. Ей следовало бы поставить две фамилии или хотя бы указать: по мотивам такого-то, но, видимо классики рассматривают молодых, неизвестных авторов как своих подмастерьев.

Наверняка кое-кому эти заметки не понравятся – это естественно – пусть напишут свои. И потом почему хороший писатель непременно должен быть и хорошим человеком? И Пушкин, и Бунин совершали отвратительные поступки, и автор «Белого пуделя» слыл в кабаках дебоширом; Аркадий Гайдар, как известно, собственноручно расстреливал пленных и топил в реке крестьян Хакасии; Паустовский прогнал студентов литинститута, которые попросили у него немного денег: «Я начинал с нуля, и вам не помешает», – заявил классик. Но, конечно, есть масса и положительных примеров: Чехов, Горький, Пришвин...

Маститый Сергей Михалков запомнился с лучшей стороны; я знал его шапочно, хотя часто встречал в Доме литераторов. Михалков, будучи всесильным, в отличие от Алексина, вроде действительно что-то делал для детской литературы и помогал некоторым писателям (в том числе моим знакомым И. Пивоваровой и Н. Красильникову), но Барков, ко-

торый два года работал у Михалкова секретарём, говорил:

– Михалков – придворный писатель и масон. Он никогда не подписывал просьбы писателей, подписывал Бондарев, а Михалков ссылался на то, что занимается творческими вопросами, «и вообще, – говорил, – спешу к Леониду Ильичу». Он руководил Союзом «из дома», а то и звонил от любовницы, страшно любил женщин. Говорил: «Я поэт и должен искать удовлетворение. Я больше люблю женщин, чем литературу».

Вождь литераторов постоянно возглавлял какие-то съезды, конференции, комиссии – похоже, любил покрасоваться в президиумах, иначе на кой чёрт ему эти сборища?! Мне, который ни разу не был ни на одном собрании, этого не понять. Может быть, благодаря общественной деятельности, Михалков и пользовался покровительством вождей и мог оказывать кое-какую помощь? Но всё-таки никак в толк не возьму, зачем такие таланты рвутся к власти?

Автор гимна имел все мыслимые титулы и премии, но главную детскую премию – имени Андерсена – так и не получил. Наверняка это его огорчало, но доподлинно известно – он не терял надежды её получить (возможно, ещё и поэтому старался быть на виду). Но премию дали художнице Татьяне Мавриной, которая всегда держалась в тени и вообще жила за городом, в Абрамцево. Хотя, безусловно, ради справедливости, эту премию могли бы дать и Михалкову.

Нелишне упомянуть: несмотря на бурную общественную

деятельность, Михалков и в старости писал неплохие стихи и не упускал случая блеснуть юмором.

Как-то поэт Яков Аким и прозаик Сергей Иванов выступали перед детьми, что было довольно смело с их стороны (оба заикаются, но, как многие с подобным недостатком, жутко любят поговорить). Уже во время выступления Акима дети начали хихикать, и вдруг появляется ещё один заика! Поднялся смех – ребята подумали, что писатели разыгрывают клоунаду. Узнав про эту историю, Михалков (кстати, не раз заявлявший: «Я не люблю детей») сказал:

– Меня там третьим не хватало (как известно, он тоже заикался).

В восемьдесят лет Михалков женился на сорокалетней женщине; спустя некоторое время редакторши «Премьеры» говорят мэтру:

– Вы такой талантливый, красивый, весёлый. Мы счастливы сотрудничать с вами...

– Да-да, – кивнул Михалков, – но вы забыли сказать, какой я любовник!

Самуила Маршака я слышал по радио, а Корнея Чуковского видел однажды издали – об этих патриархах могу судить только по рассказам приятелей.

Однажды в Малом зале поэт и переводчик Валентин Берестов читал свои переводы и рассказывал о Маршаке и Чуковском, всячески подчёркивая замечательные душевные качества известнейших мастеров. А я пребывал в замеша-

тельстве: годом раньше Коваль говорил, что Чуковский был страшно ворчливым и мнительным и даже в восемьдесят лет ужасно боялся смерти.

— Как-то я прочитал ему невинные стихи про вечный покой, — рассказывал Коваль. — Пока читал, мэтр ходил по комнате и стучал палкой. Я уж подумал: сейчас огреет меня. А когда я закончил, он затопал ногами, засопел и выпроводил меня.

Критик Николай Халатов твёрдо заявлял:

— Чуковский был злым и жадным, и детей терпеть не мог. Не зря Блок считал его плохим человеком. Правда, Чуковский, будучи сам Левинсоном, говорил: «Еврей не может быть писателем, в особенности русским писателем». (Впрочем, об этом ещё раньше говорил Куприн.)

А о Маршаке Халатов рассказывал и вовсе чудовищные вещи, будто тот сдал всех, с кем сотрудничал в «Чиже», — ведь Хармс, Введенский, Ватинов, Олейников, Заболоцкий оказались в тюрьме, а Маршака (и Андроникова) не тронули (Маршак даже получил пять Сталинских премий).

Вот такие разные мнения и сокрушительные факты. Прискорбно, если последнее — правда, а похоже, что правда, судя по книгам Н. Коняева и сына Заболоцкого.

О ком ответственно могу сказать с теплотой, так это о последнем детском классике — Юрии Сотнике. Я выпивал с ним много раз и всегда поражался его умению держать алкогольный удар, всегда любовался его прекрасными старомодны-

ми манерами. Несмотря на возраст и семейные трагедии (у него погиб сын), Сотник выглядел великолепно: бодро, подтянуто, на его лице постоянно играла ироничная усмешка. Он входил в клуб писателей, оглядывал сидящих за столами и бурчал:

– И это все писатели? Сколько ж вас развелось! И у всех усталые лица. Что ж вы такого сделали, чтобы устать?! (Эти слова Кушак приписывает Ю. Алешковскому, но я слышал их от Сотника; если же что-то подобное произнёс друг Кушака, то это наглость – ему, с его неважнецкой, злобной, эпатажной прозой, вообще следовало бы помалкивать.)

Наше знакомство произошло так. В то время мои рассказы нигде не печатали (кроме журнала «Мурзилка»); во «взрослых» издательствах говорили: «Всё это для детей», в Детгизе отмахивались: «Это взрослым о детях». Я и сам толком не знал чёткого адреса. Так продолжалось до тех пор, пока рукопись не попала к Сотнику – ему как главному рецензенту её отдала Н. Степанян из «Сов. России» (об этом уже упоминал).

Позднее Сотник признался мне, что вообще не пишет положительных рецензий, потому что «кругом сплошные книжные поэты, а в прозе сплошная литературщина». Мне повезло: неожиданно мэтр прислал не просто одобрительный отзыв – он расхвалил мои записи больше, чем они того заслуживали. Его похвалу я считаю особенно ценной, поскольку услышал её в начале литературного пути и в тот мо-

мент, когда уже собирался забросить своё увлечение. И главное, от кого услышал? От живого классика, которым зачитывался в детстве! У меня сразу появилось второе дыхание. А тут ещё позвонили из редакции – мэтр хочет со мной познакомиться, и я вообще чуть не спятил от радости.

В застолье Сотник постоянно пилил меня с отеческой усмешкой:

– Вы, Лёня, молодой писатель, а уже выпиваете, как классик. И почему вы не перепечатываете страницы с исправлениями? Что это: лень или неряшливость? И почему не следите за собой? Ходите небритый, в неглаженных брюках? И вообще, как я заметил, много валяете дурака!

Но за глаза отпускал в мой адрес только добрые слова, а рекомендацию в Союз писателей и вовсе написал прямо-таки рекламную, ко многому обязывающую (в основном нажимал на какую-то мою интонацию). Думаю, теперь понятно, почему я пишу о нём с особой теплотой.

Кстати, вторую рекомендацию (более сдержанную, но всё-таки достаточно мощную) мне дал Фазиль Искандер, с которым позднее мы тоже выпивали, но реже, чем с Сотником. В тот день я чувствовал себя героем, ходил по ЦДЛ, как седой петушок, вообразивший себя страусом (мне уже бахнуло сорок, и я лысел, толстел и прочее), и всем улыбался, как придурковатый, – известное дело, в волнующие моменты не я один, многие глупеют.

Этими рекомендациями я горжусь, как орденами, вот

только мучаюсь, что никак не могу подтвердить слова классиков – написать что-то существенное, а перечитывая свои первые рассказы, и вовсе испытываю только стыд – так плохо они сделаны. Абсолютно все ужасающе плохо (сейчас их перелопачиваю).

Мои покровители, эти два кита, как и многие творческие личности, всегда отличались странностями, но под старость явно «поехали»: Сотник вдруг почувствовал себя юношей; бывало, выпиваем с ним, подсаживаются мои знакомые молодые женщины, и я серьёзным голосом, подчёркивая торжественность момента, представляю его:

– Юрий Вячеславович. Вы наверняка читали в детстве его замечательные книжки.

А он, уже пьяненький:

– Не Юрий Вячеславович, а Юрочка! (В семьдесят лет!)

Искандер вполне серьёзно считал, что Шолохов первый том «Тихого Дона» своровал у Крюкова, и видел «подозрительную странность» в том, что донской затворник «не дружит с московской элитой»; о своих рассказах говорил «это моё произведение», «моё творчество»; ругал Айтматова, что тот в «Белый пароход» вставил легенду, но самое огорчительное – мой любимый писатель участвовал в провокационном «Метрополе», в компании злобных антирусских писателей (некоторые из них уже тогда намылились в Штаты), а позднее – не явно, но всё-таки был на стороне «демократов», во всяком случае, лил воду на их мельницу.

Кстати сказать, Искандер дал мне дельный совет – откладывать рассказ только тогда, когда в него уже ничего не можешь добавить. К сожалению, для такой доводки текста у меня никогда не хватало усидчивости.

Сейчас мы тоже считаемся стариками; на самом деле являемся пожилыми, бывальыми мужчинами – до глубоких старцев (с их закидонами) нам ещё далеко, так мне кажется. Правда, недавно один приятель поставил меня на место:

– Если взялся за воспоминания, значит, состарился.

А второй припечатал ещё сильнее:

– Ты хорошо пишешь, но никогда не станешь известным – у тебя фамилия плохая!

Ну а третью рекомендацию мне дал Яков Аким, щепетильный моралист, зануда с вечно недовольным, плаксивым лицом, который, по его словам, с большим удовольствием читал мою прозу ещё у Митяева.

– Хочу тебе сказать, я редко кого хвалю, – предупредил Аким, подчёркивая весомость своей рекомендации.

Об Акиме распространяться нет смысла – таких человек-оведов, как он, знает весь литературный мир (как деятеля, а не поэта; в поэзии у него скромные достижения); скажу лишь о том, что он в высшей степени справедливый и один из немногих евреев, кто на чём свет стоит ругает литераторов своей национальности (Юдахина, Кушака, Л. Яковлева и тьму других), и упомяну то, что меня с ним сближало (как и с Сотником, и с Искандером), – естественно, выпивки. Мы

с ним выпивали и до его рекомендации, и все прошедшие годы, и сейчас на сборищах друзей. (Он всегда пил водку с соком, а теперь, когда ему далеко за семьдесят, перешёл на красные вина. Впрочем, не он один. Дмитрюк, в свои шестьдесят, уже давно пьёт «по-европейски» – и вино разбавляет водой. Но у обоих не угас интерес к женщинам, даже обострился – надо полагать, почувствовали, что к ним возвращается молодость.) Сразу поясню: мы выпивали не для того, чтобы напиться, а чтобы поговорить, – выпивки скрашивали наше общение, повышали уровень разговора, ну и, понятно, подогревали творческие силы.

Нельзя не отметить такой факт: считается, что истинным талантам свойственно восхищение другими талантами, а бездарный восхищается самим собой; но мои рекомендатели нещадно ругали многих известных современников, а о своих произведениях упоминали при каждом удобном случае. Может, это была ревность к чужой славе – в истории таких случаев сколько угодно.

Некоторое участие в моей писательской судьбе принял Кушак: встретившись с критиком Грудцовой в Пёстром зале, он горячо защищал мою повесть (сионистка писала мерзкие статьи на рукописи русских писателей), а вскоре познакомил меня с критиком Всеволодом Сургановым, человеком редчайшей душевной чистоты (быть может, самым искренним на свете – у него всё шло от сердца), который в повседневной жизни был эталоном скромности (и прекрасной старомодно-

сти), но превращался в грозного бойца, когда дело касалось литературы (впоследствии мы стали друзьями и постоянными собутыльниками). В одну из встреч Сурганов сказал мне: – Самый верный путь к сердцу читателя – быть искренним. А искренность, по словам Платона, «следствие мастерства». Синоним искренности – сердечность. В твоих рассказах меня подкупила именно искренность. Местами пронзительная, какая-то оголённая.

Понятно, эти слова мне, начинающему литератору, придали недюжинные силы.

Сурганову Кушак (в позе давно состоявшегося мастера, хотя прошёл всего год, как сам вступил в Союз) представил меня своим протеже, похвалил мои книжки (из уважения к моим рекоммендателям) и внезапно, развивая какие-то свои тайные мысли, вполне серьёзно добавил:

– В действительности в Союзе много евреев, и Лёньку надо принять.

Вот так! Как обухом по голове! Оказалось – я всего лишь некий противовес, вкладыш, точнее – декоративное прикрытие; он пёкся не столько обо мне, сколько об общем виде писательской среды, хотел за счёт меня её немного разбавить, чтобы она не выглядела совсем уж однородной до неприличия.

Ещё прямодушной был Мазнин. После того, как я получил писательский билет и мы обмывали это событие, он сказал мне (тоже вполне серьёзно):

– Теперь можешь спокойно заниматься живописью!

Такие у меня непосредственные дружки, и откровенные – дальше некуда! И какие у них тонкие насмешливые пожелания! Точнее – дьявольские мысли при доброжелательных улыбках. Кстати, Мазнина, который вто время пробовал силы в драматургии, я решил припугнуть и сказал, что положил глаз на театр – собираюсь писать пьесу, да ещё сочиню музыку к ней и вступлю в Союз композиторов.

Узнав, что меня приняли в писательский Союз, друзья-художники стали надо мной посмеиваться: «Пис-са-тель!» – и всячески давали понять, что я предатель лучшего в мире клана. Но я-то знал: так, как делают они (многие из них), мне не сделать, а вот с друзьями-литераторами вполне могу потягаться. Хотя последние, как я уже сказал, похоже, так не считали и не принимали меня всерьёз. Во всяком случае, они редко говорили о моих рассказах, но всегда упоминали, где видели мои рисунки. А друзья-художники после того, как я особенно расписался, глядя на мои иллюстрации, вводили разговор в сторону:

– Ты хороший писатель, жаль, что тебя никто не знает.

Себя я оправдывал тем, что мне нравился сам процесс работы (не знаю, как у других, но у меня, если и появлялось что-то стоящее, то только в процессе работы), а готовая вещь уже мало интересовала, и я уже видел в ней массу недостатков, о погрешностях и говорить нечего.

Здесь без всякой хитрости и рисовки скажу: то, что назы-

вается творчеством, я всегда рассматривал как радостное занятие. Радостное – не потому, что мне всё давалось легко, – совсем нет, скорее наоборот; но это была любимая работа, за которую (надо же!) ещё платили деньги. И всегда мне было как-то странно слышать, что кто-то над моими рассказами смеялся или даже плакал (случалось и такое – само собой, не среди литераторов – среди простых читателей); было и приятно, и неловко, что люди могут так переживать, пусть частичную, но выдумку (понятно, искусство создаёт мир иллюзий, но многие хотят быть обманутыми).

К тому же до иллюстрирования книг и занятий литературой я успел поработать почтовым агентом, шофёром и грузчиком и всегда жутко уставал, а став литератором, подумал: лёгкая работёнка у этих писателей, необременительное занятие, даже удовольствие – сидишь себе за стопкой бумаги, водишь карандашиком, покуливаешь да ещё проживаешь две жизни: реальную и воображаемую.

Так я думал до тех пор, пока не взялся за рассказы для взрослых. Неожиданно я стал уставать гораздо больше, чем когда разгружал вагоны. А подтолкнул меня выступить в новом качестве стариннейший друг, товарищ по байдарочным походам физик Борис Зайцев.

Он не раз говорил мне:

– Строчить детские рассказы может каждый. Это забава, недостойная настоящего мужика.

И наконец однажды спросил с прямою дровосека:

– Когда возьмёшься за серьёзное, напишешь что-то для взрослых?

Я и взялся. Осторожно двинулся в сторону «серьёзной» литературы.

Изловчившись, я накатал десяток рассказов; одновременно пописывал и детские – в результате иногда получалось что-то безадресное, что я стыдливо называл «слоёным пирогом». Касаясь своего нового статуса (рассказчика для взрослых), признаюсь: вместе с похвальными отзывами (В. Цыбина, Н. Кончаловской, Л. Лиходеева, Н. Халатова и др.) слышал я и убийственные слова:

– Всё это треп!.. О чём это? Кому это надо?.. Не чувствуешь конструкцию рассказа!.. Не знаешь, как строить сюжет!..

И получал разгромные беспощадные рецензии, после которых долго не подходил к столу. Одну получил сплошь подчеркнутую красным карандашом. Так безобразно прошёлся по рукописи критик В. Чалмаев. Кто-то из друзей посоветовал:

– Отправь ему, гаду, рукопись назад, пусть перепечатает. С какой стати это должен делать ты?!

Понятно, я не отправил, а поскольку своей машинки ещё не имел, пришлось вторично идти к машинистке и вновь платить немалые для меня деньги.

Некоторые приятели довольно остро восприняли мой новый порыв; они привыкли считать меня художником, ну ещё пописывающим детские рассказы, а тут вдруг я ещё полез

в нешуточную область; они чуть ли не требовали, чтобы я не раздваивался. Так, фотограф Владимир Лучин (любитель джаза и охотник, который, по его словам, словно кот, видит в темноте) обеспокоенно спросил:

– Для чего ты это затеял? Ты же не учился в Литературном институте?! Ты заходишь слишком далеко.

Журналисты Д. Иванов и В. Трифонов (балагуры, вся жизнь которых – цепь пустяков), разговаривая со мной, постоянно удивлялись:

– Как? Ты не читал Джойса?! (или Кафку).

И я сразу чувствовал себя ничтожеством; ну а пролистав мои автобиографические рассказы, они заявили:

– Пойми, голова, у каждого в жизни найдётся пара-тройка таких историй, и вообще, если проза пишется от первого лица – это несерьёзная литература.

Помню, их слова меня задели, и я в очередной раз задумался о своём непрофессионализме. Но по пути домой (как всегда, запоздало) нашёл неплохой ответ: историй полно – главное, как они записаны. А от первого лица писали почти все наши великие классики, и это не обязательно документальность, фиксация фактов, это может быть и художественное произведение, где автор говорит от лица героя, где есть вымысел и прочее. К тому же я пишу не для славы и денег, а, как говорил Стейнбек, «потому что мне просто нравится писать».

На следующий день, вооружённый этим могучим ответом,

я отправился в Домжур, где Иванов с Трифоновым торчали по вечерам, и вдруг встречаю свирепого поэта Авсарагова. Я уже упоминал, что он слыл могильщиком авторитетов и вообще никого не щадил – случалось, и крыл матом; мне повезло – он лишь скривился, словно проглотил змею, и выдал:

– Осилил один твой рассказец. Ничего хорошего сказать не могу. У прозы есть свои законы.

Какие законы? Я не знал никаких законов, ведь был в литературе самоучкой (как бы крутился в кастрюле, не в силах вырваться на простор) и в очередной раз подумал – а не забросить ли писательство куда подальше? Позднее я вычитал у Бунина: «В первой фразе всё дело». А у Чехова наоборот: «Написав рассказ, надо вычёркивать начало и конец... Умение писать заключается в умении вычёркивать» (вроде, повторил Микеланджело: «Беру глыбу мрамора и отсекаю всё лишнее»). Потом я прочитал у Батюшкова: «Надо писать, как живёшь, иначе всё будет фальшиво», а у Толстого вычитал: «Писатель должен знать, о чём пишет, любить то, что описывает, и иметь нравственную позицию». Потом я наткнулся на статью А. Маршалла, где писатель говорил, что вообще надо идти против всех правил.

Только теперь я понимаю, что по большому счёту для пишущих нет рецептов, и каждый писатель сам для себя устанавливает законы, руководствуясь своим вкусом, чувством слова, чувством меры и прочими чувствами. А тогда, ясное дело, меня не покидало только одно чувство – неполноцен-

ности. Но именно в те дни является очередной спаситель – прозаик Борис Ряховский, мирный человек, который никогда не делал резких заявлений, хотя А. Барков считал иначе:

– Ряховский как-то заявил, что в Детгизе печатаются деловые люди: «половину гонорара отдают редакторам». Раньше он всё время прилипал к Михалкову, Алексину, а сейчас живёт на даче какого-то богача.

Но я ничего этого не знал, а вот «мирные» слова Ряховского помню:

– У каждого найдётся свой читатель. Если книга помогла побороть невзгоды, отчаяние, да просто доставила радость хотя бы трём-четырёх людям, значит, она написана не зря.

Позднее я встретил художника Юрия Семёнова (человека сложнейшей души), мы перекинулись словами и уже разошлись, как он окрикнул меня:

– Совсем забыл. Тут с семьёй недавно переезжал, таскал вещи, устал и присел на стул; и вдруг увидел на полу твою книжку (тонкую, детскую). И знаешь, честное слово, не на шутку увлёкся. Пока не прочитал до конца, ничего не таскал...

Спустя некоторое время мне позвонил актёр Владимир Белоусов (глубоко театральная и пивная душа):

– Я только вчера выписался из больницы. Хочешь верь, хочешь не верь, но твоя книга помогла мне выздороветь.

А недавно прозаик Михаил Ишков (о его душе ещё скажу) сообщил приятную вещь:

– Еду в электричке, вдруг входит парень и поднимает над головой твою книжку. «Граждане пассажиры! – говорит. – Мне здесь попалась вот эта книжка. Она не просто понравилась, я не мог оторваться. Трудно поверить, что в наше время ещё так пишут».

– Обычный трюк торговца, – перебил я Ишкова, а он:

– Не скажи. На твою книжку среди моих соседей очередь.

Так что несколько читателей у меня уже есть. Недавно чуть было не появился еще один. Знакомый слесарь-водопроводчик (его душа постоянно стремилась к «красненькому», и он признавал только две профессии – слесаря и шофёра, всё остальное считал ерундистикой), встретив меня во дворе, расплылся:

– Тут мне в руки попалась книжонка. Внуку её читал. Забористо написано. Забыл, кто написал. Случаем, не ты? «Золотой ключик» называется, – и загоготал.

Я оценил его иронию и стал соображать, как поудачней ответить, но пока, тугодум, соображал, он удалился. Кстати, этот слесарь подтрунивал не только надо мной: нашему дворнику, который живёт с дворнягой кобельком, постоянно с улыбочкой говорит, что его пёс «голубой», поскольку не обращает внимания на сучек; а свою болтливую тещу называет «однозвучно гремит колокольчик».

И всё же, как каждый литератор, я надеюсь, что когда-нибудь и другим читателям будет нужно то, что я написал.

Очутившись в литературных кругах, я взял себе за прави-

ло — никогда не подходить к известным личностям, даже если с ними уже кто-то знакомил. Этим правилом я руководствовался все эти годы и теперь даже к приятелям, ставшим знаменитыми, первым не лезу, жду, пока они сами подойдут. Возможно, это глупо, но не хочу навязываться и таким образом сохраняю своё пусть небольшое, но достоинство. Некоторые знаменитые приятели (вроде Успенского) уже ко мне не подходят, только кивают издали — видимо, совсем ошалели от своего могущества.

Добавлю ещё вот что: никто никогда от меня не слышал, будто я сделал что-то стоящее, тем более — наворотил что-то значительное (может, пару раз сказал: «Вроде получилось», «Кажется, более-менее удачно», — не ради какой-то наигранной скромности, а предъявляя к прозе определённые требования).

— У тебя заниженная самооценка, — недавно мне, уже старому, сказал драматург В. Шашин.

Ничего подобного. Я знаю, что написал несколько сносных рассказов, за которые не стыдно, но, сравнивая себя с великими, вижу: у них огромные полотна, которые сколько ни перечитывай, каждый раз открываешь что-то новое, а у меня всего лишь описания, зарисовки; великие выходят за рамки времени, а я барахтаюсь в сиюминутном отрезке. Рядом с великими все мы ничто. Помню, перечитал «Вечера на хуторе...», и опустили руки, не смог больше работать. Не знаю, как у других, но меня сильные вещи подавляют,

убеждают, что я вечный ученик (в основном учусь на своих ошибках).

Читая могучих классиков, поражаешься: как всё у них легко и органично и так просто, что не замечаешь писательской техники – точно так же, как не различишь стыков в ампирной мебели или швов в хорошем костюме – короче, настоящего мастерства не видно. Только при тщательном вчитывании замечаешь – великие обращаются со словами бережно, словно с вещами, и думаешь: писательство – та же работа, что и у столяра, и у портного, только теми профессиями можно овладеть, а здесь нужно призвание.

Что и говорить, словесное произведение должно быть крепким, как добротная сделанная мебель, или отлично сшитый костюм, или хорошо отлаженный механизм, и на одних эмоциях здесь не вылезти, без знаний ремесла не обойтись, а этих-то знаний мне и не хватает. Потому и стал самоедом и никогда не называл себя писателем, только – литератором.

Ко всему я думаю, даже уверен – настоящий писатель (и художник) в работе должен быть узнаваем, а таких единицы. Что касается лёгкости у великих, добавлю – истинное мастерство всегда создаёт обманчивое впечатление лёгкости, но, понятно, эта лёгкость даётся немалым трудом.

И никогда я не устраивал своих выставок (хотя двадцать пять лет вёл изостудию в ЦДЛ и мог это сделать не раз), все холсты раздарил приятелям-литераторам (художникам – было бы стыдно), и вообще не считаю себя художником, то есть

мастером, имеющим свою изобразительную манеру. Считаю себя только умеющим рисовать, но и это часто ставлю под вопрос – и опять-таки не от какой-то там ложной скромности, кривляний – теперь, под старость, мне начхать на все эти позы и фокусы, – просто вижу разницу между тем, что делаю, и тем, как это делают настоящие таланты.

Короче, я всю жизнь сомневаюсь в себе, сильно собой недоволен, иногда даже ненавижу себя. Поэтому мне и непонятно, как многие друзья, писатели и художники, не видят свои работы со стороны, как могут хвастаться посредственными вещами (или превозносить таковые). За мной-то не заржавеет – я их ругаю, гавриков, распекаю как надо, от меня они не дождутся поблажки, ведь кого любишь, к тому и требования. Да и костерю только тех, кто достиг известности и умеет защищаться (кому много дано, с того и спрос), слабых, неизвестных не посмел бы.

Кое-кто может сказать – какое имеешь право судить других?! Сам-то что сделал?! Отвечаю: чтобы судить о литературе, не обязательно быть писателем; каждый имеет право высказывать своё мнение, и каждый может плюнуть на это мнение. Также можно в шутку ответить английской поговоркой: «Я никогда не нёс яиц, но знаю вкус яичницы лучше любой курицы».

Итак, я стал более-менее полноценным литератором (приблизился к своим друзьям, даже запланировал купить пишущую машинку, как символ профессионализма и богат-

ства) и влился в громадную армию писателей – по всей стране их насчитывалось более десяти тысяч! От этой цифры захватывало дух – писатели представлялись Золотой Ордой, не иначе (понятно, в историческом смысле, а не в смысле качества). Я прикинул – если каждый из этих «воинов» за год напишет по книге, получится гора, которую не перечитать и за всю жизнь. Правда, позднее выяснилось, что среди писателей есть авторы одной-единственной книжки. Так, главврач поликлиники Литфонда Геллер написал, как делал операцию во время войны, а лётчик Гофман вспомнил бомбёжку Берлина – обоих через связи приняли в писательский Союз.

Таким же макаром стали писателями некоторые актёры вроде Гурченко, Ливанова, Золотухина, Розовского, и разные полковники и политики, воспоминания которых накатали оборотистые журналисты Э. Хруцкий, А. Макаров и прочие; писателями значились генерал Цвигун и адмирал Гайдар. Ну а уж руководителю государства за его мемуары сам бог велел иметь писательский билет. Сейчас писателями числятся даже такие негодяи, как С. Филатов и Новодворская; первый недавно совсем обнаглел: решил прибрать к рукам весь особняк ЦДЛ – видимо, посчитал, что мало наворовал, будучи правой рукой президента; а вторая считает Чехова и Достоевского «болотной классикой» и не возражает, если большая часть русских вымрет, а от России останется одна Московская область, – понятно, ничтожества часто са-

моутверждаются через жестокость.

Но и без этих «творческих личностей» армия писателей выглядела внушительно. Были даже целые семейные кланы с серьёзными фамилиями, где в писательском Союзе состояли не только оба родителя, но и их дети, — там звание «писатель» передавалось по наследству, часто вместе с дачей в Переделкино (Катаевы, Марковы, Туры, Симоновы, Червинские...).

Детских писателей в Москве тоже числилось немало — сотни четыре, и вначале я потерялся в этой толпе, но потом заметил: одни писатели, в силу старческой немощи, уже ничего не пишут, другие кропают пересказы, инсценировки, составляют сборники, то есть занимаются чем угодно, только не сочинительством; третьи — из числа случайных мастеров пера — получив престижный членский билет (и, конечно, сопутствующие привилегии — о них ещё скажу), вернулись к своим основным профессиям. Короче, в результате этих подсчётов действующих писателей-сочинителей набиралось всего ничего, десятка два-три — всего-то небольшой караван. Все писатели представлялись страшными умниками, большущими личностями и как работники жутко плодовитыми (в смысле выдаваемой продукции).

Самое смешное, в свои сорок лет я оказался одним из молодых писателей, поскольку средний возраст членов Союза переваливал за пенсионный рубеж. Такое было дряхлое сообщество. Моё-то поколение немного его разбавило, ну а

по-настоящему оно помолодело во время перестройки, когда разделилось на несколько Союзов и каждый принимал в свои ряды всех желающих – принимали целыми ватагами и табунами (по списку), лишь бы увеличить общую массу (физический вес), чтобы при дележе имущества и кусок хапнуть побольше. Такие мерзкие комбинации.

Нам для вступления в Союз требовалось иметь не меньше трёх-пяти книжек (за исключением тех немногих, кто шёл кратчайшим путём по благу) и рекомендации известных писателей; мы проходили длинную процедуру – четыре комиссии приема и утверждения. Сейчас всё упростилось: достаточно напечатать пару стихотворений в многотиражке или взять у кого-нибудь интервью, заплатить определённую сумму – и ты член славного Союза.

Теперь наверняка многотысячная писательская армия удвоилась – во всяком случае на книжных развалах тьма детективов, эротики, секса, но совершенно не издают классику и современных прозаиков и поэтов (всё получилось, как в природе, где дикие растения сильнее культурных и быстро забивают всяких «интеллигентов»). Раньше книга была духовной пищей и стоила копейки (многие имели домашние библиотеки), теперь книга – товар, который большинству не по карману.

В семидесятых годах Союз писателей был могущественным: имел огромное издательство, выпускающее книги миллионными тиражами; поликлинику, в которой никогда не

было очередей (по больничному писателю платили неплохо, и считалось, что каждый писатель просто обязан болеть хотя бы два раза в год); книжную лавку, где продавали книги, недоступные простым смертным; прекрасную библиотеку, пошивочное ателье, парикмахерскую, бюро обслуживания, где выдавались продовольственные талоны, билеты в театры и прочее (свои люди сидели и в железнодорожных кассах и кассах «Аэрофлота» у метро «1905 года»).

Ну и, ясное дело, Союз писателей владел огромными зонами отдыха – прекрасными Домами творчества в Подмосковье, в Прибалтике, в Крыму и на Кавказе (вот масштабы!), причём в Дома творчества каждый писатель без всяких героических усилий раз в год мог взять путёвку бесплатно.

Особо надо отметить, что в Переделкино и Внуково были и персональные дачи с обширными участками, которые пожизненно закреплялись за каким-нибудь классиком. После смерти классика обычно за поместье начиналась драчка между теми, кто не имел таких «условий» (туда рвались и посредственности, чтобы почувствовать себя классиками), но чаще наследники покойного заранее вступали в писательский Союз и оставляли дачу себе «для своего творчества».

Всем своим членам Союз постоянно улучшал жилищные условия (лауреаты обитали в правительственном доме в Лаврушенском переулке, знаменитости – в высотке на Котельнической набережной, просто известные – у метро «Аэропорт» и т. д.). При Союзе были комиссии по распре-

делению дачных участков и автомашин; в Литфонде у метро «Аэропорт» располагалось бюро пропаганды, от которого писатели ездили в командировки по всей стране, а в самом Союзе несколько комнат занимала иностранная комиссия, от которой «писательский цвет» катался по заграницам.

Ко всему прочему, некоторые из писателей получали безвозмездные денежные пособия, годовые стипендии (позднее для особо ценных и заслуженных работников пера ещё негласно установили немалые президентские стипендии). Не знаю, как другим, но мне Союз писателей представлялся гигантским спрутом, охватившим всю страну, даже Кремль. Как известно, его щупальца и раньше туда тянулись, но в последние годы там попросту обосновались писатели «общественники», возомнившие себя черт-те кем, – они верховодят в президентском совете, комиссии по помилованию (естественно, особенно активны всякие Приставкины, Вайнеры, Герберы, Розовские и сумасшедшие вроде Чудаковой).

Ну а главным достоянием рядовых писателей был их клуб – знаменитый ЦДЛ, и в первую очередь Пёстрый зал с автографами, пародиями и шаржами на стенах. Большинство этих каракулей оставили знаменитости, но в какой-то момент директор ресторана решил увековечить и современную элиту, а мне, как художнику Дома, предложил расписать «юморными» рисунками стену у буфета. Я, разумеется, не отказался и тем самым примазался к знаменитостям.

Как известно, Литфонд и, соответственно, ЦДЛ были со-

зданы для «неимущих и пьющих» писателей, а поскольку большинство хороших поэтов и прозаиков именно таковыми и являются, то, естественно, они считали ЦДЛ своим вторым домом. Действительно, там царила семейная атмосфера, к писателям относились уважительно: гардеробщицы приветствовали, буфетчицы Анна Ивановна и Муся отпускали выпивку и сигареты в кредит, случалось, и официанты обслуживали в счёт будущего гонорара; тем, кто чересчур напивался, дежурные вызывали такси, а дебоширам грозили милицией. (Иногда не только грозили; но стражи порядка, как правило, подвозили дебоширов к отделению и прощались – всё-таки творческие личности! Правда, время от времени при входе в ЦДЛ вывешивались объявления, кому запрещалось посещать клуб месяц или два, но это были единичные случаи.)

В ЦДЛ можно было сразиться в шахматы или по телевизору посмотреть спортивную передачу, а в Пёстром зале за просто пообщаться со знаменитостями, провести вечер с подругой, ну и, само собой, выпить с друзьями, благо в буфете красовалось полно всякой выпивки – от рябиновки до зубровки – и бутерброды были на любой вкус. Во время кампании за трезвость выбор выпивки стал скромнее – только коньяки и сухое вино, но водку умные люди покупали у официантов, а ещё более умные (мы, разумеется) приносили с собой.

Теперь-то всё это в прошлом. С приходом к власти «демо-

кратов» Союз распался на несколько писательских кланов, издательство «Советский писатель» развалилось, поликлинику продали каким-то дельцам из Израиля, многие Дома творчества оказались в ближнем зарубежье. От бывшего достопамятного ЦДЛ тоже мало чего осталось: часть Дома сдали в аренду коммерческим фирмам, Пёстрый зал превратили в элитный клуб с десятком официантов, Большой зал – в кинотеатр, где крутят боевики, а в ресторане цены взвинтили так, что не подступишься, – там теперь гуляют новоиспечённые бизнесмены (по вечерам улицу Воровского заполняют «мерседесы» и «ауди»).

От всего ЦДЛ писателям оставили только подвальный буфет, но и тот закрывают в восемь часов. Конечно, важно не где сидеть, а с кем (с друзьями и скамья в сквере – уютное местечко, и дешёвое вино кажется коньяком), но всё же в знаменитом Пёстром была особая атмосфера, и не только семейственность – там витал дух великих предшественников, и это обязывало подтягиваться.

Теперь мало кто из писателей ходит в ЦДЛ; большинство стали нищими и сидят по домам; крайне редко встречаются, чтобы выпить по рюмке, вспомнить старые времена. Теперь можно с горечью сказать: «Прощай, ЦДЛ!». Судьба нашего родного Дома, оскорблённые и униженные писатели – это в миниатюре судьба всей страны; «демократический» ураган повсюду оставил после себя опустошение, обломки.

Стоит сказать ещё несколько слов о Союзе писателей. В

отличие от ЦДЛ, где я провёл долгие (и, наверно, лучшие) годы, сам Союз, повторяюсь, остался для меня каким-то непонятным монстром. Он находился в двух шагах от ЦДЛ – занимал соседний особняк (Дом Ростовых), в который можно было попасть через подвальный переход, да ещё размещался на верхних этажах ЦДЛ и в строении напротив Дома; плюс к этому – имел особняк на Комсомольском проспекте. До сих пор не могу понять саму структуру бывшего Союза – разницу между Союзами писателей СССР, России и Москвы. Получалось, что мы состояли сразу в трёх Союзах, что ли?

Собственно, вся эта мешанина меня никогда не интересовала, а сейчас и подавно, просто представляю, сколько секретарей и всяких замов грели руки на своих должностях, тем более что существовали ещё какие-то вспомогательные объединения, вроде группомов литераторов и драматургов и отдельно, для избранных, где-то на Цветном бульваре – ПЕН-клуб (в нём, кстати, наряду с хорошими писателями также пребывали всякие скандальные писаки вроде бездарного истерика Ткаченко, пошляка Вик. Ерофеева или разных особ, пишущих про оргазм и про всех, с кем спали).

Но вернусь в середину семидесятых годов. Почти все мои друзья-литераторы вступили в Союз писателей на год-два раньше меня; некоторые из них уже успели ухватить славу за хвост и вцепились в неё довольно крепко, ну а я, поскольку иллюстрировал их книжки, немного примкнул к их славе. Эти мои друзья успели побывать во многих Домах творче-

ства, поездить в командировки, а кое-кто и получить квартиры – эти последние и посоветовали мне подать заявление в жилищную комиссию.

Я жил с матерью, младшим братом и сестрой (инвалидом первой группы) в четырнадцатиметровой комнате. Кроме нас в квартире проживали ещё две семьи. Что это была за жилплощадь? Первый этаж, дощатые полы, по которым бегали мыши, газовая колонка; за окнами грохотали товарняки окружной железной дороги, а в подъезде круглогодично не давали прохода комары – как шутили жильцы, «стояли на-смерть». Столом нам служил требующий ремонта кабинетный рояль «Шрёдер» (надеялись когда-нибудь его починить, но так и не починили); мать с сестрой спали на тахте, мы с братом кидали монету – кому укладываться на раскладушке, кому на полу под роялем.

Так мы ютились пятнадцать лет. И вот друзья, узнав про всё это, надавили на меня, чтобы я немедленно подавал заявление. Года полтора я тянул, считал неудобным сразу же кланчить жильё, тем более что работал в библиотеках, домой приходил только ночевать, а чаще ночевал в мастерских художников. Потом всё-таки написал заявление, и спустя год меня вызвали в жилкомиссию. Моё заявление зачитали после приблизительно таких:

«Я член Союза с (указан стаж лет десять), живу с женой в двухкомнатной квартире крайне стеснённо, поскольку пишу исторические романы и имею большую библиотеку, необхо-

димую для работы. К тому же у нас очень шумный район, что не способствует творчеству. Прошу выделить мне однокомнатную квартиру под рабочий кабинет. Желательно в тихом месте».

«Я член Союза пять лет. Имею трёхкомнатную квартиру, в которой кроме меня проживает жена и взрослая дочь, которая вот-вот выйдет замуж. Прошу вместо моей квартиры предоставить мне две двухкомнатные».

Заявление драматурга Мишарина (представительного, чванливого типа с барскими замашками, надменного, уверенного в своей исключительности):

«У меня умерла жена, и я не могу находиться в своей квартире. Прошу предоставить мне другую и большую».

И вот в это, если можно так выразиться, зажавшееся окружение – попала моя записка: «Прошу предоставить любую комнату, в любой квартире, в любом районе». Когда его зачитали, члены комиссии засмеялись:

– Сейчас дадим ему комнату, а через пару лет он женится, потребует квартиру... Надо сразу давать квартиру.

Мне выписали смотровую на однокомнатную квартиру в доме на Олимпийском проспекте. У меня перехватило дыхание, дрожащим от счастья голосом я сказал, что согласен на квартиру без всякой смотровой. Так в сорок два года я наконец заимел собственное жильё.

При ЦДЛ для всех желающих были курсы иностранных языков и детская танцевальная студия; решили организовать

ещё изостудию. Мазнин порекомендовал меня. Вначале я струсил и отказался, но, поразмыслив, решил попробовать провести один сезон... и вот уже двадцать пять лет как занимаюсь этим увлекательным делом. До последнего времени занятия с детьми были для меня, без преувеличений, праздником, особенно когда наваливались неприятности; дирекция ЦДЛ щедро снабжала нас всем необходимым, под выставки выделяла фойе, а для их обсуждения – Большой зал. Но теперь, при «диком капитализме», всё изменилось: у изостудии отняли шкафы, где хранились наши материалы и рисунки, мольберты и гипс поломали во время ремонта Дома; теперь краски и кисти родители покупают сами. Да и дети теперь другие, для них компьютерные игры интересней всякого рисования. Раньше изостудия ломилась от любителей рисования, теперь ходят пять, от силы семь учеников. Ради них и продолжаю занятия.

В Домах творчества я был всего два раза... по одному дню. Первый раз – лет двадцать назад – поехал в Планерское. Мне достался замечательный номер, вокруг благоухали цветники, погодка стояла – лучше нельзя придумать, но во всём Доме творчества я не увидел не только приятеля, но и просто знакомого – осмотрел все столы во время обеда – восседал совершенно нелитературный люд (в основном обслуга ЦДЛ, литфонда, врачи поликлиники, родственники писателей). Это обстоятельство резко ухудшило моё настроение. «Ладно, – подумал, – познакомлюсь с какой-нибудь симпа-

тичной одинокой женщиной».

Три раза сплавал к буйку, походил взад-вперед по пляжу – заметил немало симпатичных женщин, но все они не были одинокими. Я сник ещё больше. Вечером решил выпить, но не тут-то было – в Крыму объявили сухой закон. Это доконало меня окончательно – ни поговорить, ни выпить было не с кем, а без вечерней выпивки с друзьями я свою жизнь не представлял. Сел покурить на скамью, и внезапно в моей голове что-то щёлкнуло, я представил, как в эти минуты друзья уже собрались в ЦДЛ... В общем, утром улетел в Москву.

Приблизительно в те же годы Л. Яхнин уговорил меня взять путёвку в Переделкино (он оттуда не вылезал, поскольку разводился с женой).

– Приезжай, – сказал, – днём будем работать, по вечерам выпивать, пригласим каких-нибудь барышень.

Мне дали светлую комнату с неплохим видом из окна. После завтрака я положил на стол бумагу, карандаш, закурил и стал отчаянно ломать голову – что бы такое написать. До этого были кое-какие задумки, передо мной что-то маячило, но здесь, как ни подстёгивал себя, ничего не мог выжать. Из соседнего номера, точно пулемётные очереди, доносился стук машинки Яхнина, а я вдруг понял, что здесь ничего не напишу, – уже привык к своей конуре, домашней обстановке, к старому, в ожогах и шрамах столу, настольной лампе и прочим обжитым, притёртым, бесценным для меня вещам. Короче, накурившись до одури и так ничего и не написав, я

поехал проветриться в ЦДЛ, оттуда домой.

Через пару дней Яхнин позвонил:

– Ты куда пропал? Уборщица волнуется, «странный жилец, – говорит, – не появляется, но бумага и карандаш на столе лежат».

– А ты за меня черкани что-нибудь, чтоб она упокоилась, – сказал я.

На следующий день Яхнин позвонил снова:

– Вчера написал на твоих листах: «Жизнь и смерть негодяя». Роман. Глава первая... А сегодня уборщица сообщает: «Появился, начал писать роман». Так что, Сергеев, приезжай, дописывай.

Я так и не приехал. Вместо меня туда с радостью покати́л кто-то из друзей (то ли Мазнин, то ли Кушак), кто-то из них решил «отдохнуть от семьи и поработать в тишине». В дальнейшем эти субчики не раз писали от моего имени заявления на путёвки и всласть «отдыхали» два срока.

В командировки от Союза писателей я никогда не ездил. Однажды, лет через пять после получения членского билета, секретарь Союза Ф. Кузнецов сказал мне (между делом, когда привёл дочь в изостудию):

– Почему вы не берёте командировки? Мы ведь не бедные, на это у нас всегда есть деньги (в самом деле, многие ездили и за границу). Надо ездить, чтобы знать жизнь. Все ездят, а вы что, хуже?

Я давно мечтал побывать на Дальнем Востоке и, написав

заявление, отдал его в секретариат Луковниковой (в то время гражданской жены Яхнина). Через некоторое время у неё спрашиваю, что с моим заявлением.

– Тебе отказали, – небрежно бросила Луковникова.

А месяц спустя встречаю Кузнецова:

– Ну, так и не надумали попутешествовать?

Я объяснил, что к чему.

– Опять Луковникова! – возмутился вождь Союза. – Ничего мне не передавала. Не первый раз так поступает, но уволить её не могу, за ней стоят определённые силы.

Только позднее я узнал, что в писательском Союзе давно идёт тайное противостояние между «патриотами» и «сионистами», а поскольку последних больше, они чаще и побеждают. И понял, почему Луковникова всегда пыталась доказать мне, что литература не моё дело. Много раз, сталкиваясь со мной где-нибудь в холле ЦДЛ, эта штучка ни с того ни с сего выдавала:

– Читала твою книжку. Слабая. Ни сюжета, ни характеров...

Или:

– Рассказы так себе. Скукота. Диалоги совсем не умеешь писать.

Яснее ясного, она это говорила с чётким умыслом, чтобы заронить в меня комплекс неполноценности, подавить мои устремления. Наконец однажды она проявила себя во всём блеске. В тот день, уходя с работы, она что-то выясняла с

Яхниным у гардероба ЦДЛ (они решили разойтись, и накатуне, по просьбе Яхнина, я отвез ей ключи от её квартиры). Я был выпивши и, увидев своего дружка, ринулся к нему. Он неловко заулыбался, махнул мне издали:

– Ты сидишь в Пёстром? Сейчас подойду.

Луковникова злобно взглянула на меня и процедила:

– Пьяная рожа! Русские совки!

Она процедила это тихо, для Яхнина, но у меня неплохой слух, я всё четко услышал и сделал вывод – она злобная русофобка. У Яхнина память не хуже, чем у меня слух, и если он соберёт в кулак совесть, то подтвердит то, что она произнесла. А мой вывод позднее подкрепил электрик И. Передельский:

– Давно известно, она махровая жидовка. А прозвище её знаешь? Исчадьё Ада!

Самое странное, когда Яхнин с Луковниковой разошлись окончательно, и она перебесилась и успокоилась, от неё на меня прямо полилась приветливость: увидит – подходит с улыбкой:

– Как дела?

Я не здоровался, отворачивался, проходил мимо, но в следующий раз опять – улыбается: «Как дела?» И даже – «Как пишется?» Это продолжается до сих пор. Я не знаю, такая наглая беспринципность – издевательство или забывчивость за давностью лет, или готовность (в пику Яхнину) наладить дружеские отношения, или желание просто вдоволь порез-

виться? Поди разберись, что на уме у этой литературной дамочки. Но что я знаю точно – Пёстрый зал она называет «гадюшником», а всех русских прозаиков и поэтов, пьющих в нём, – «подонками», а пьющих еврейских – «талантами». Или шуточно: «Вы такой умный и всё ещё на свободе!» Некоторых «талантов» (например, переводчика Л. Милля) она укоряла:

– Как ты можешь общаться с этими пьяными совками?! (Он сам об этом мне говорил незадолго до самоубийства, когда вернулся из Израиля).

Кстати, подобное, но в более мягкой форме однажды высказал известный поэт В. Соколов, когда мы обмывали вступление в Союз поэта В. Левыкина (Соколов дал ему рекомендацию). Мы сидели втроём в Пёстром, и Соколов, обращаясь к Левыкину, спокойным, ровным голосом произнёс:

– И что вы, Слава, постоянно здесь сидите... с этой пьянью? – он поморщился и кивнул за спину.

Я был поражён, ведь сам Соколов был большим любителем спиртного, но вдруг вспомнил, что он на моей памяти впервые выпивал в Пёстром, а до этого – только в ресторане; до меня дошло, что он попросту считает Пёстрый рангом ниже ресторана и презирает здешних завсегдатаев. (Позднее, демонстрируя нахальную величественность, Соколов вообще мог сказать своему товарищу Б. Леонову: Почему вы говорите со мной на «ты»?) А в день чествования Левыкина я ещё вспомнил, что мимо Пёстрого всегда, не оглядываясь,

проносились Нагибин, Вознесенский, Окуджава и ещё немало известных личностей. (Евтушенко и Фёдоров, Искандер и Тряпкин, Поликарпов и Костров, надо отдать им должное, не избегали неизвестных и малоимущих собратьев по перу). Между тем в тот день, когда мы чествовали новоиспечённого Левыкина, за спиной Соколова (в разных углах, за разными столами) сидели прекрасные поэты М. Шутов, П. Вегин, Г. Русаков, прозаик А. Афанасьев и другие, хорошие товарищи мои. Я не нашёл ничего лучшего, как выдать:

– Я тоже один из этой пьяни.

Классик не удостоил меня ответом. Поздравив Левыкина, он обрушился на поэтов, которые пишут о природе. Потом досталось и тем, кто пишет о городе.

Всё это было лет двадцать назад, а сейчас, во время «реформ» строителей капитализма, с некоторыми классиками и вовсе творится что-то невообразимое. Недавно открываю журнал «Наша улица», а там интервью с Астафьевым. Он отвечает корреспондентке: «Говорят мне: вы не любите русский народ... А чего его любить-то? За что я должен его любить? Предъявите мне документы, назовите по пунктам: за что я должен его любить?» Вот так вот! Не за что, значит, любить русских! Значит, чего-то не понимали Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Бунин.

Ну ладно, сейчас наш народ открыто презирают, смешивают с грязью всякие Боровые, Новодворские, Сванидзе, Немцовы, Кохи (последний договорился до того, что назвал Рос-

сию «ненужной страной»!), но это понятно – они нерусские, и сейчас их время, а тут вдруг человек, которого современники называют «живым русским классиком»! Такое не укладывается в голове. Позволительно спросить у Астафьева хотя бы такое – ничтожный народ мог создать великое государство?

В восьмидесятых годах для Союза писателей отвели земельные участки в Истринском районе (по шесть соток; теперь новые русские имеют по шестьсот). Я не хотел брать. Во-первых, не было денег на строительство даже щитового дома; во-вторых, выяснилось: пока это известие дошло до меня, хорошие участки уже разобрали, остались только в болоте (от них все отказались), и, чтобы их осушить, опять-таки требовались денежки, и не малые; но главное, ещё подростком я наработался на земле и все последние годы выбирался на природу только с байдаркой и палаткой. Уговорила жена брата. Она твёрдо сказала:

– Возьми! Я буду там разводить цветы.

Помню, я ещё долго кочевряжился, а теперь – надо же! – этот клочок земли – моя единственная отдушина. Конечно, и квартиру, и дачный участок, и путёвки в Дома отдыха в те годы мог получить любой рабочий и служащий. Больше того, им давали бесплатные путёвки и в санатории, которые по комфорту превосходили писательские Дома творчества. И участки от предприятий выделяли не по шесть, как нам, а по восемь соток и в сухих местах, а не в комарином раю.

Тем не менее, я исключительно благодарен Союзу писателей за все материальные блага и бесконечно благодарен за ЦДЛ, за общение с единомышленниками.

Кстати, среди работников ЦДЛ я никогда не афишировал своё писательство, и многие из них долгие годы не знали, что я член Союза. Я был для них руководителем изостудии (для некоторых – учителем их детей и внуков), своим художником, своим работником, с которым они получали зарплату, остальное их не интересовало. Был случай, когда меня даже не пустили в ресторан. В тот вечер я встречал знакомых из Ленинграда, чтобы посидеть в нашем кабаке. Накануне им сказал:

– У нас лучше всего, – и, усиливая выигрышность своего варианта, добавил: – В нашем ресторане даже президента Рейгана встречали.

– А будут свободные места? – спросили мои гости.

– Для литераторов всегда найдутся, – важно бросил я, не сомневаясь в победе.

И вот входим мы в зал, подсказывает старший официант (заменивший метрдотеля) Алексей и улыбается:

– Сегодня для художников мест нет. Извини.

В самом деле, за столами сидели одни писатели и, как всегда, несколько блатных, но один стол пустовал.

– А этот? – кивнул я.

– Ждём писателей.

– Но я, извини, тоже из их числа.

– Ладно врать-то! В душе мы все писатели, – Алексей засмеялся и удалился.

Как назло, ни директора ресторана, ни директора ЦДЛ не было, и я остался с носом. Понятно, мои гости презирали меня, и даже неплохая посиделка в Пёстром не сгладила мой позор.

В другой раз мы с бардом Е. Медведевым выпивали в Нижнем буфете, и он, подогретый, сказал, что сочинил «потрясную вещь».

– Пойдём в Малый зал, там же рояль, там и сыграешь, – предложил я в полной уверенности, что мне дадут ключи от зала, где я уже немало лет проводил занятия.

Мы поднялись, и я объяснил дежурной суть дела; она прекрасно знала меня, но вежливо заявила:

– Сегодня не ваш день (я занимался по воскресеньям). В будни зал только для писателей.

Медведев начал было доказывать, что я тоже писатель, но дежурная не поверила.

Однажды я выпивал с друзьями-художниками в какой-то мастерской. Мы приняли совсем немного и решили добавить в ЦДЛ. Только вошли, дежурная удивлённо вскинула глаза:

– Лёня, кого это вы привели?

– Да вот подобрал на улице, – отшутился я, кивнув на друзей.

– Но вы же знаете, что писатели – и те могут проводить только двоих, а тут вы, да ещё троих!

Хорошо, что у меня в кармане лежал членский билет (который дежурная долго рассматривала, с трудом веря в его подлинность). Кстати, с того дня она зауважала меня, даже как-то отвесила комплимент:

– Некоторые писатели напиваются так, что не стоят на ногах, а вы вроде тоже выпиваете, но мы не видели вас пьяным. Вы молодец!

На самом деле я просто боялся потерять работу (изостудию) и уходил сразу, как только чувствовал, что поплыл.

Гардеробщики ЦДЛ, с которыми я дружил и отмечал все зарплаты (я получал за изостудию меньше, чем уборщица, – пятьдесят рублей в месяц – и обычно столько уже был должен буфетчицам), узнали о том, что я пишу книги, только на моё шестидесятилетие.

– Что ж обманывал? Что ж не дарил книжки? – обиделись старики, когда я притащил им бутылку водки с закуской.

На том же юбилее в Малом зале брат развесил мои иллюстрации, и вдруг редактор «Малыша» Т. Васильева, которая знала меня сто лет, спрашивает:

– А чьи это работы на стенах?

Когда брат объяснил, она тут же предложила мне иллюстрировать книжку в «Онексе», куда перешла с начала перестройки. Вот так поздно я и открывался в новом качестве.

Но если работники ЦДЛ воспринимали меня только как художника, то в секретариате Союза многие вообще не знали, кто я такой, – это и понятно, я там никогда не появлялся.

Однажды за стол, где мы с инженером Л. Доменовым выпивали, подсела бухгалтерша Союза Я. Богданова и поинтересовалась: «Кто вы?» Я плосковато пошутил:

– Водопроводчики. Ремонтируем трубы в вашем Доме. Второй день вкалываем, а после работы вот... расслабляемся.

Бухгалтерша знала всех писателей в лицо – и поверила (почему не поверить, если у нас был соответствующий видок?). Только спустя полгода, когда я уже выпивал с её мужем, писателем, она узнала, что к чему, рассмеялась и с досады звезданула меня кулаком по спине.

Кстати, меня частенько принимают чёрт-те за кого. Был случай, когда я принёс рукопись в одно издательство, так редакторши приняли меня за посыльного и стали совать мелочь на чай.

В начале девяностых годов, когда началась свистопляска «реформаторов», многих из нас перестали печатать; мы оказались на обочине, буквально без копейки в кармане. Я пытался устроиться сторожем, но мне (пятидесятипятилетнему) говорили:

– Староват. Сердце откажет – отвечай за тебя.

А тут ещё брат с женой крепко сели на мель. Короче, я обменял свою квартиру на меньшую в «хрущёвке», а доплату поделил с братом. Он свою часть положил на сберкнижку (в надежде жить на проценты), но после гайдаровского обвала остался ни с чем. Я успел потратить деньги: съездил в

турпоездку по Европе и издал пару книг рассказов за свой счёт (нашёл захудалую типографию и за небольшую сумму получил самиздат). Слово «книга» к этой печатной продукции мало подходит: бумага газетная, обложки мягкие («летающие по воздуху», как говорят продавцы развалов), шрифт расплывчатый и всего по триста экземпляров, половина которых обрезана криво – в общем, сделал себе примитивный подарок. Тем не менее, я дарил друзьям эти раритеты. Некоторые (вроде Константина Сергиенко) не верили, что я печатаюсь за свой счёт.

– Не ври! – говорили. – Небось, нашёл богатого спонсора! Другие (вроде Яхнина) верили и ворчали:

– Ты дурак! Впустую тратишь деньги! За свой счёт печатаются только графоманы!

Наверно, я действительно поступал глупо, тем более что раздарил всего штук тридцать-сорок экземпляров, остальные и сейчас валяются в сарае на участке (в магазинах их не взяли, «у вас нет имени», – сказали; точнее, в одном киоске взяли и даже одну книжку купили, но тут же вернули, объявив: «Это не тот Сергеев», – оказалось, есть какой-то бард Л. Сергеев), только Яхнин забывал, что многие из этих самиздатовских рассказов я когда-то носил в известные журналы, но ни в одном их не напечатали. В некоторых даже говорили: «Подходят, берём», но «печатают» до сих пор (за всю жизнь ни разу не напечатали в большом журнале!). Вот и набралось с полсотни неопубликованных рассказов. Полу-

чалось, я зря над ними корпел. А так хоть друзья прочитали. В общем, об этом не жалею.

Теперь о наградах. У меня нет ни орденов, ни званий. Не стану ловчить, кем-то прикидываться, серьёзно заявляю: если б был орденосцем, испытывал бы стыд перед друзьями, которые не имеют никаких наград, но заслуживают их больше меня. А такое сплошь и рядом в искусстве. (Недавно Госпремию по литературе дали эстраднику Жванецкому – позорище! И это в стране великих писателей! До чего докатились «демократы»! Впрочем, сейчас среди «народных» артистов туча шоуменов и безголосых певцов, всяких Ярмольников, Макаревичей, Якубовичей – разве их можно поставить рядом с действительно народными Жаровым, Крючковым, Ильинским?!)

Короче, мне наплевать на награды, на всю эту мишуру, другое дело – отношение к тебе как к человеку, который всё-таки кое-что сделал в своей области. Ну куда это годится: сидим в ЦДЛ Коваль, Яхнин, С. Иванов и я, вдруг подходит П. Френкель (полулитератор-полуфункционер, живущий то в России, то в Германии) и раздаёт моим друзьям бланки для выдвижения на диплом Андерсена, а мне даже и не кивнул, хотя мы знакомы десятки лет (он работал в журнале «Детская литература»), вроде я – дерево, часть интерьера в зале; на его физиономии так и читалось – да, я проталкиваю только «своих». Ну ради приличия хотя бы сказал: «А тебе в другой раз». Или: «Так мы решили». Или пошутил бы: «Из-

вини, бланков маловато». Хотя что-то сказал бы, но нельзя же человека так унижать! Повторяю, мне все эти дипломы до лампочки, но в тот момент почувствовал жуткий стыд – не потому, что для Френкеля оказался пустым местом, а потому, что он так неприкрыто грубо это показал.

И за друзей стало стыдно: они бросились лихорадочно заполнять бланки, не испытывая ни малейшей неловкости от ситуации, похоже, посчитали – всё в порядке вещей, они заслужили дипломов, а я нет; им не хватало лишь сказать: мы, евреи, таланты, а ты посредственность. Ну а себя в те минуты я просто-напросто презирал, ведь ещё некоторое время сидел как истукан за столом, не зная, куда деться.

И всё же одна награда у меня есть. Как-то мы с Ковалём выпивали в Пёстром, вдруг подходит Ирина Евтушенко (однофамилица поэта, работала в секретариате Союза писателей):

– Я хочу вам дать по медали «Ветеран труда». Вот бумага, пишите свои данные.

Я сразу решительно отказался.

– Мне не надо. В нашем отечестве порядочный человек не может иметь награды. За редким исключением.

– А мне надо, едрёна вошь! – засмеялся Коваль. – Давай медаль! Где писать?

– Эта медаль почётная, – продолжала Евтушенко и дальше стала объяснять разницу между всякими званиями, лауреатством и этой медалью.

Я понял только одно: что её дают не за мастерство, а за долголетие в писательском Союзе, и отошёл к стойке буфета; в очереди разговорился с кем-то и обо всём забыл. Через месяц Коваль мне говорит:

– Иди получи медаль у Ирки. Я получил, а твоя тебя ждёт. Я твои данные тогда записал.

Я махнул рукой и никуда не пошёл. Но тут Мазнин стал меня донимать:

– Получи, получи медаль, пригодится. Ты ж, балда, Ирку тем самым обижаешь.

Потом Евтушенко сама подловила меня в ЦДЛ и вручила медаль:

– Нам дали на Союз всего пятьдесят медалей, но именно тебе в первую очередь я и хотела её дать, потому что ты никогда ничего не просишь, никуда не лезешь.

Я поблагодарил Евтушенко, но сказал:

– На фиг она мне нужна?

Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет, когда произойдет «криминальная революция» и наступит разбойничье время, когда буду жить только на мизерную пенсию, благодаря этой штуковине смогу хотя бы меньше платить за квартиру. Ну а до этих событий я решил вновь, как в юности, походить в библиотеку «Ленинку», поскольку за последние годы почти ничего не читал. Пришёл записываться, но получил от ворот поворот.

– Уже давно записываем только тех, кто имеет диплом об

окончании института, – строго сказала регистраторша.

– Диплома у меня нет, – говорю, – но я член двух творческих Союзов (второй – журналистов, где я состоял в секции графиков).

– Всё равно. Нам нужен только диплом.

– Как же так? – растерянно бормочу и бросаю последний козырь: – У меня есть медаль.

– Мы и с орденом не записываем, – безжалостно, как оплеуху, выдала регистраторша, но, подумав, сказала: – Подождите, я позвоню в дирекцию...

С превеликим трудом, после долгих телефонных разговоров мне выдали одноразовый читательский билет. И всё благодаря медали. А между тем в каталоге библиотеки числилось около десяти моих книг.

К моему шестидесятилетнему Московская писательская организация выпустила сборник моих рассказов «Заколдованная» (сто экземпляров) и за него дала премию им. С. Есенина. Эта премия не от каких-то олигархов, она от истинно русской организации. А потом я получил Первую премию за повесть «Железный Дым» о своей собаке (Всероссийский конкурс на лучшую детскую книгу о животных). Благодаря этой премии вышла книжка о Дыме с его фотографией на обложке – для меня это лучшая память о моём лохматом друге и наших с ним байдарочных походах.

Пусть смеются над нами

После смерти матери ко мне зачастили друзья – где ж ещё удобней собраться? – от ЦДЛ всего-то пятнадцать-двадцать минут на такси (за три рубля), да и места в квартире полно, всегда можно переночевать; кое-кто заваливался с подружками, а я шёл с собаками на озеро или оставлял ключи и направлялся в писательский клуб.

Смех разбирает, когда вспомню дружков, перебивавших у меня. Вот уж были растяпы, так растяпы! Они ползали перед подружками на животе, читали стишата (рассматривали встречу с какими-нибудь никчёмными особами как величественное событие.) Некоторые из этих растяп уже на небесах, и теперь в компании мы часто потешаемся над ними. Всякие праведники нас осуждают, а мы в ответ:

– Когда дадим дуба, пусть смеются над нами!

Именно в то время у меня появились новые серьёзные друзья: прозаики Владислав Егоров, Михаил Ишков и драматург Валерий Шашин. С этой троицей я выпил бочку водки – никак не меньше – и вёл захватывающие разговоры и огненные споры. К слову сказать, мы были пьющие, но не любили пьяных – тех, кто сильно перебирал и выпивал ежедневно без всякой меры; с такими нам было не по пути, мы всё-таки корпели над рукописями.

Сатирик Егоров – мощная личность: большой, тучный, с

вертикальной полоской торчащих усов «каплеуловителей» – а-ля Гитлер, не упускал случая поучить меня житейским премудростям (он был старше на год), даже тем, которые мне были совершенно не нужны (банному делу, изготовлению холодца, всяким соленьям, моченьям), но всегда это делал тактично и вроде бы ленивым, глуховатым, но теплым, обволакивающим голосом.

Он вообще выглядел сонливым толстяком: казалось, положи его на пол – и он тут же уснёт. Только разговоры о литературе (в ЦДЛ) действовали на сатирика освежающе; отстаивая свои взгляды, он вначале повышал голос, а потом и начинал горлопанить. А окончательно расходился в спорах о политике – тут уж его, бывшего журналиста «Правды», задевало за живое, у него появлялась молниеносная реакция, лидерские замашки: он багровел, на несогласных зыркал испепеляющим взглядом, рычал и рывкал, стучал палкой (последние годы он болел и ходил с трудом); от его всесокрушающего напора оппоненты смолкали и съёживались, а единомышленники расправляли плечи – им сатирик подмигивал: мол, пока я с вами, вы в безопасности.

Егоров был крайне вспыльчивым, за его внешней невозмутимостью и спокойствием (порой даже вялым равнодушием) всегда чувствовалось страшное внутреннее напряжение – достаточно было одного неосторожного слова, чтобы в его глазах появился воинственный блеск; ещё пара слов – и он рвался в бой (как-то, разбушевавшись, даже дал в морду так-

систу-хаму). Такой в нём был богатый ассортимент чувств, я называл его «старый вояка».

Загородник Ишков – высоченный, с копной седых волос и, как и Егоров, усатый, но, в отличие от усов сатирика, его усы горизонтальные, и, не в пример сатирику, Ишков постоянно настроен на борьбу, он жить не может без споров на любую тему, и, надо признать, от него исходит дух победителя.

Будучи историком, Ишков клепал фундаментальные исторические романы и натаскивал меня по части далёкого прошлого нашего отечества. Скажу сразу: знания у моего друга колоссальные, спору нет (рядом с ним я чувствовал себя хилым горожаниным в джунглях), но его романы (из серии «Великие тираны» – все эти Калигулы, Ироды, Коммоды) обрушивают на читателя дюжины имен и фактов, но плоховато создают экспозицию Древнего мира (близкую к реальности), от этого всё выглядит немного схематично, так мне кажется.

И вообще неясно, на кого рассчитаны эти книги; если на студентов-историков – это одно, это куда ни шло, а если на неподготовленного читателя вроде меня – то это труднопреодолимое чтиво. Хотя, конечно, блок его романов впечатляет своей массой – представляю, сколько наш друг просидел в библиотеках и в Интернете, это адская работа. Ишков всё сокрушался, что у него «нет имени» (хотя его романы продаются во многих магазинах, а «имя» есть у тех, кого «рас-

кручивают», – известное дело, за деньги). Как-то заявил:

– Эти мои романы – моя последняя надежда.

– Надежда на что? – попытался я уточнить.

– На то, что сделаю имя, стану известным, – историк пустил в ход оружие ближнего боя.

– На фига тебе это?

– Ну ты даёшь! – историк злодейски сверкнул глазами и дал залп из тяжёлого орудия: – Не понимаешь, что ли, – сразу другое отношение к тебе, сразу пойдут заказы! – и, как бы собирая военные трофеи, заключил: – У тебя нет заказов, потому что ты неизвестный.

Во время разговоров о литературе Ишков становился не просто резок в оценках, он становился беспощаден, никому не давал спуска (особенно тем, кто писал развлекательные рассказы, и популярным детективщикам, которых рвали на части); от него только и слышалось:

– Дурь какая-то! Суррогатная проза!..

Как-то прочитал рассказы Валерия Рогова (нашего общего приятеля, прозаика-тяжеловеса, работающего основательно, со знанием дела) и в редакции «Советского писателя», будучи выпивши, врезал автору в глаза:

– Хреновина!

Рогов пожал плечами и, расстроенный, вышел из комнаты. Шашин, который присутствовал при этом, набросился на Ишкова:

– Мишка, ну что ты молотишь?! Прочитал два рассказа,

ничего не понял, оскорбил человека. Ты знаешь, что у Рогова есть отличный роман?

Когда Рогов вернулся, Ишков воскликнул:

– Валера, ну прости! Хочешь, встану перед тобой на колени? – и брякнулся на пол; потом поднялся: – Но пишешь плохо.

Ишков никак не мог расстаться с провинциальными замашками; частенько кого-то изображал (здесь его талант очевиден, здесь он накопил достаточно мастерства). Взять хотя бы его наигранные предпосылки:

– Можно выругаться?

Или:

– Можно я скажу прямо? Я по-другому не могу. Мне твоя вещь понравилась (тому же Рогову).

А то вдруг выступает в роли сурового судьи. Недавно выдал Шашину весомое обвинение:

– Хороший ты был мужик, пока не бросил пить.

А потом досталось и мне (когда я что-то ляпнул):

– Ты это серьёзно? Я всё ждал, когда ты скажешь то, что ясно и детям. Дождался, ха-ха!

Но у Ишкова есть немалое достоинство – он умеет слушать собеседников и не раз произносил:

– Да, ты прав, а я не прав.

Во время споров о политике Ишков вскакивал, ударялся головой о люстру и, размахивая руками, с дикими усилиями (до заиканий) доказывал свою правоту, а потом внезапно

стихал, опускался на стул.

– Не о том говорим, – бормотал. – Наше дело – писать, рукопись убедительней всего.

Ишков живёт в Подольске и в первые годы после наших застолий иногда оставался у меня ночевать, предварительно позвонив жене (семейное счастье он оберегал, как святое, и, кстати, у себя, в домашней обстановке, становился мягким, улыбчивым, играл на гитаре, пел туристские песни; в своём доме к друзьям он предельно внимателен и даже нежен). За бутылкой мы вели захватывающие разговоры – это были самые длинные ночи в моей жизни. И самые прекрасные. Благодаря Ишкову я здорово поумнел.

Окончивший литинститут (вместе с Шашиным), глубоко начитанный Ишков по-настоящему сведущ во всех областях литературы, но ему не хватает художнического взгляда на жизнь. Он всё говорит и пишет правильно, умно, но где образность, метафоричность? Мы с Шашиным ждём от него шедевров (его потенциал огромен), а он в спешке выдаёт обычное чтиво, чуть лучше всяких набивших руку ремесленников.

Сейчас Ишков работает ночным сторожем на заводе (сутки дежурит, трое свободен; за смену успевает и потрепаться с рабочими, и посидеть над рукописями, и поспать) – ему постоянно приходится подрабатывать (младшему сыну нужна квартира, жене – санаторий, лечить больные ноги), он берётся за любую «вспомогательную» работу (попросту халтуру):

надо сделать путеводитель по Подольску – делает, надо написать детектив – пишет, надо придумать компьютерные игры – придумывает (и всё на неплохом уровне); а работу для души оставляет на будущее, и мы с Шашиным тревожимся – как бы эта гонка не вышла нашему другу боком.

Не так давно прозаик Юрий Перов предложил Ишкову писать сценарии для телефильмов. За короткое время наш неутомимый друг настряпал десяток серий, довольно средних, без особых находок.

– У меня по утрам голова кипит от планов, – говорит, – и я сразу бегу к столу.

– Тебе, Мишка, главное – заработать деньги, – возмущался Шашин. – Тебе всё равно, что писать. Что ни предложат, хватаешься. Разбрасываешься! Ты стал чересчур прагматичен. И такое впечатление, что катаешь первое, что приходит в башку.

Я тоже заседал на «многостаночника»:

– Ты совсем спятил в погоне за деньгами. Деньги всем нужны. Я подрабатываю на своей колымаге – развожу и таскаю книги. Устройся сторожем ещё куда-нибудь, такого здоровяка везде возьмут. Но халтурить в литературе – последнее дело.

– Ну что вы от меня хотите?! – вспыхивал Ишков. – Ну не могу я делать лучше, графоман я!

– Не болтай ерунду! – останавливал его Шашин. – У тебя есть отличный фантастический роман, и ты сам хвастался –

в столе куча рассказов. В романе есть немного мусора, но я готов отредактировать.

Шашин подробно пересказывал действительно интересный сюжет. Ишков слушал и посмеивался в усы – похоже, считал, что его роман и без всякой редакции – эталон мастерства.

Кстати, несколько раз Ишков ездил обсуждать сценарии к Перову в Переделкино (тот, как и подобает классику, работал в Доме творчества). Позднее Рогов говорил:

– Я тоже там недельку жил в соседнем номере. Мишка пять раз приезжал к Перову, ко мне даже не зашёл поздороваться. Заработался!

В конце концов наша с Шашиним проработка автора исторических романов пошла ему на пользу – он стал бережней относиться к друзьям, но главное – написал два романа, которые назвал «гениальными» (вроде действительно сделал гигантский шаг вперёд).

Шашин, можно сказать, выглядел юношей в нашей группе (и сейчас таковым выглядит – ему чуть перевалило за пятьдесят), но, пожалуй, он-то и был самым рассудительным – все отмечали цельность его натуры. (Как и Егоров, внешне он спокоен, но внутри его нервы всегда напряжены, и случается, это напряжение выходит наружу – в виде вспышек раздражения.)

Шашин – плотный молодец, всегда гладко выбритый, без всяких украшательств в виде усов и сложных шевелюр,

немногословный, дотошный аккуратист, – постоянно делал мне выговоры за неухоженность и прокуренность квартиры: – Не можешь сделать ремонт! Хотя бы поклеить обои!.. Жена по запаху узнаёт, что я был у тебя, сразу стирает мою одежду, а меня отправляет в ванную – смывать впитавшийся никотин.

Во время споров Шашин редко выходил из себя, а если и выходил, то выбирал выражения (не то что мы), хотя порой чувствовалось – это ему даётся с трудом. За прошедшие годы он всего однажды вышел из себя, правда, впечатляюще: выкинул дурацкую шутку – позвонил моему неуравновешенному, мнительному брату и, изменив голос, прогундосил:

– Вам звонят из издательства по поводу вашего романа. В нём мало секса, и надо поменять вашу фамилию на женскую.

Брат жутко расстроился. А Ишков справедливо объявил шутнику:

– Ты становишься опасен!

Попутно замечу: Шашин никогда не приезжал ко мне (безденежному) без сумки с продуктами, в отличие от Ишкова, который раньше, даже обмывая очередной роман, являлся с одной бутылкой. Правда, позднее стал приезжать и с банками закуски. Зато свои дни рождения Ишков отмечает с купеческим размахом – устраивает для нас гастрономический беспредел, стол прогибается от яств, наливок (собственного изготовления) и всевозможных маринадов – фантазиями его жены, виртуозной кулинарки, – и всё с крохот-

ного, две сотки, участка под Подольском.

К слову, на том участке Ишков сколотил из горбыля времянку – что-то вроде шалаша, и вдруг недавно, когда Шашин позвонил в Подольск, чтобы пригласить Ишкова обмыть книжку Рогова, услышал голос жены Ишкова: «А Миша на участке делает веранду». Мы с Шашиным чуть не умерли от смеха – веранду к шалашу! И делает Ишков, который с трудом отличает гвоздь от шурупа.

У Ишковых отличная родня: брат с женой – астрономы, старший сын с женой – китаисты, племянница и внучка – талантливые девчушки; в застолье они все блестящие рассказчики. Бывать в их семействе – радость. А вот в семействе Шашина – сплошная грусть, что понятно – там произошла трагедия. Жена Шашина после гибели их сына (нелепой смерти подростка) стала странной особой – ей всюду мерещатся микробы; из-за этой болезненности она крайне редко выходит из дома (всего один раз пришла в ЦДЛ на просмотр фильма), ни с кем не общается и не принимает гостей. Естественно, у Шашина не собираемся; его дни рождения отмечаем у меня.

Особо надо подчеркнуть щедрость Шашина: нам с братом он отгрохал королевские подарки – компьютер и принтер, а младшему сыну Ишкова на свадьбу – «Ниву».

Ну и главное – Шашин написал девять пьес (каждую подолгу «утапывал, утрамбовывал»); он прирождённый драматург, блестящий сюжетчик, ему придумать захватываю-

щую фабулу – раз плюнуть. Одна из его пьес – «Поджигатель» – первоклассная вещь (шла в «Театре современной пьесы» и на телевидении), но у нашего друга нет связей в театрах, и восемь его пьес лежат в столе. Недавно Шашин написал два отличных телесценария, но, как известно, на телевидении одни «свои», и влезть туда невозможно. И всё же я верю – рано или поздно по этим сценариям снимут фильмы, а на пьесы нашего друга будут сбегаться зрители со всей Москвы.

Нельзя не упомянуть то, что объединяет Ишкова с Шашиным, – это категоричность суждений. Они никогда не говорят «по-моему», «пожалуй», «мне кажется» – сразу рубят с плеча: только так – и баста! Никак не помудреют, черти. К тому же оба моложе меня и могли бы поуважительней относиться к моей лысине.

Спустя несколько лет, после того как я переехал в Тушино, Шашин бросил пить и стал над нами посмеиваться:

– И не надоело вам отравляться?! Сколько можно!

Стоило нам обмолвиться, что «к чаю любим сладкое», как он усмехался:

– Как все алкаши! Ты, Сергеев, вообще опасный пьяница: сильно не пьянеешь, остаёшься хорошим собеседником, и с тобой друзья хотят ещё выпить.

Позднее он серьёзно ударился в религию и уже устраивал Егорову и Ишкову более жёсткие выговоры, а меня и вообще выбрал основной мишенью: стоило мне заикнуться, что

прежний фильм «Идиот» (с Яковлевым и Борисовой) намного лучше последнего, как мой друг заключал:

– Ты старый, нелюбопытный!

Особенно Шашин лупил меня за безбожье (он находился под сильным влиянием товарища по литинституту Игоря Исакова): постоянно подсовывал мне религиозные книги, напоминал про Страшный суд:

– Учти: когда ты ругаешься, Дева Мария плачет!

Как и многие воспитанные советской властью, да ещё будучи недоучкой, я в религии полнейший дилетант, круглый невежда. Я обеими руками за идеалы православной веры, с благоговением взираю на храмы, меня увлекают торжественные ритуалы, слова священнослужителей (за исключением идолопоклонства перед иконой, да ещё приписывают ей какие-то лечебные свойства), но, как говорили немецкие философы, «христианство унижает и порабощает человека». В самом деле, ведь оно призывает «возлюбить врагов своих, благословить ненавидящих вас, обижающих и гонящих вас.» Потому-то православное смирение похоже на рабство (особенно сейчас, когда русский народ открыто грабят, называют быдлом, но он всё терпит).

И я не верю в Бога (уже вроде объяснены «плачущие» иконы и явления святых; да, собственно, и «венеч природы» уже получают в пробирке!) И, как известно, церковнослужители не отличаются святостью: наши, православные, в прошлом сотрудничали с КГБ, а теперь подпевают «демократам»; о ка-

толиках и говорить нечего – больших интриг и разврата, чем в Ватикане, трудно представить, а теперешние кардиналы и вовсе занимаются растлением малолетних. Как-то мы в очередной раз подняли эту тему и Шашин начал перечислять великих учёных, верящих в Бога, но я его остановил:

– За свою жизнь я видел кое-что необычное, но никогда не ощущал присутствия ни Бога, ни дьявола – хоть убей! – не ощущал. Чехов говорил Бунину: «Как врач скажу вам – никакой второй жизни нет. Могу это доказать как дважды два. Бессмертие после смерти – сущий вздор». Я верю в сверхъестественную интуицию, в телепатию, даже в параллельный мир, но всё это в той или иной мере объяснимо научно, и Чудотворец здесь ни при чём. Я верю Дарвину, я от обезьян, а ты, возможно, творение божье.

Шашин, отбросив всякую христианскую терпимость, агрессивно пытался раздолбать моё стойкое невежество, но я выдержал удар.

Кстати, не смог меня разубедить и поэт и настоятель храма Владимир Нежданов, и бывший прозаик, а теперь священник Ярослав Шипов (то ли они плоховато знают предмет, то ли я непробиваемый тупица). А вот брат Ишкова, серьёзный учёный-астроном, встал на мою сторону, да ещё растолковал, что «законы небесной механики прекрасно обходятся без Бога».

Что ещё я говорил Шашину?

– ...По-моему, большинство людей верят в Бога не пото-

му, что пришли к нему из-за потребности души, для самосовершенствования, а в результате библейских мифов, необъяснимых явлений. Для них Бог – защита от всех бед, убежище от житейских проблем. И не грешат они не из-за нравственных убеждений, а из-за боязни возмездия в аду. Для многих религия – страх перед исчезновением навсегда и, естественно, надежда на воскрешение и вечную жизнь. Сейчас некоторые и ради моды ударились в религию, такие просто хотят украсить свою жизнь.

Мой дружище возмущался, доказывал, что все мои рассуждения – дурацкие, а вопросы идиотские – их может задавать только человек с мозгами Буратино. Недавно он и вовсе заявил со смешной инфантильностью:

– Мой батюшка сказал, чтобы я не спорил с тобой...

Пусть не спорит – его дело, но уж если ты такой святоша и всех осуждаешь за малейшие промахи, то и сам должен поступать безупречно, а он устраивает по интернету встречи «для секса», даёт советы своему другу Юрию Перову, как писать о проститутке (тот издал роман «Толстушка»), – странная ханжеская позиция. Интересно, как на это смотрит Дева Мария?

Год назад мой дорогой друг отмочил совсем уж не христианский номер. Ему и Ишкову я подарил по картине; Ишков повесил у себя на видное место, а Шашин, неблагодарный гусь, отдал своей знакомой; позднее и вовсе сообщил приятное – будто эта его знакомая продала картину за доллары

писателю-детективщику М. Рогожину. Ну ладно, не понравилась тебе моя картина – засунь её под тахту, но так поступать по православным заветам? Я ж ему, драгоценному, от всего сердца подарил, и в работу вложил немало чувств, старания, красок и прочего. К тому же прежде показал десяток картин и сказал: «Выбирай!» На кой чёрт выбрал?! Мог бы под любым предлогом отказаться. Не стал же брать книгу у Климонтовича, когда тот подписывал мне свой очередной том, – тогда сказал просто: «А мне необязательно».

Ох уж эти глубоко церковные люди! Они живут высшими понятиями, а мы, безбожники, мелочовкой. Но если серьёзно, без религии народу не обойтись, и Шашин прав – только православие может объединить русских. И у власти должны находиться верующие люди, тогда будет поменьше воровства и негодяйства. И признаюсь: хотелось бы, чтобы наши души были бессмертными, – ведь тогда мы встретились бы на небесах.

Шашин – человек увлекающийся. Недавно круто развернулся (прочитал книгу Истархова «Удар русских богов») и встал на мою сторону, заявив, что разуверился в христианстве.

Ну, так вот, эта троица здорово украсила мою холостяцкую квартиру. Иногда к нам присоединялся Рогов. Обычно после того, как ставил точку в очередном фундаментальном романе, или когда находила хандра и не писалось, или после радостного события – купил новую машину, компьютер (ко-

торый до сих пор не освоил, что вызывает усмешки у компьютерщи ко в-виртуозов Шашина и Ишкова), или после трагедии, когда спалили его дом под Касимовом, где в течение многих лет он работал.

Внешне Рогов выглядел здоровяком, медлительным, степенным, как и подобает лауреату всяких премий; на бытовые темы говорил спокойно, убедительно, но, как и Егоров и Ишков, в спорах о литературе и политике расходился не на шутку – правда, не вскакивал и не размахивал руками, продолжал сидеть, скрестив руки на груди в позе Наполеона – вроде руководил сражением.

Несмотря на азартные споры, во многом мы были единомышленниками и потому сильно привязались друг к другу. Мне очень дорого то время. Наша связка и сейчас крепка, мы и сейчас собираемся у меня, но... уже без Егорова. К большому огорчению, наше спаянное братство недавно поредело – болезни доконали Егорова, он умер. Это большая утрата для всех нас. Царство ему небесное, если оно есть! И пусть, как говорится, земля ему будет пухом! Кстати, на похоронах именно Шашин сказал самые проникновенные слова.

Понятно, человеческая жизнь и должна быть ограничена временем, чтобы мы спешили делать что-то полезное, но всё же несправедливо, когда из жизни уходит человек в цветущем возрасте.

Последние годы Егоров на лето снимал комнату на станции Правда, где в окна лезли ветви яблонь. По утрам он бро-

дил по лесу, собирал грибы; днём писал за столом у «яблонового окна», по вечерам прогуливался по посёлку, «набирался дачных впечатлений».

Как сатирик Егоров был продолжателем традиций Салтыкова-Щедрина и, в отдалённом плане, – Грибоедова, Гоголя. Как известно, сатира – крайне сложный жанр, в котором легко впасть в шаблонный набор приёмов, банальщину и фальшивость. Я убеждён, именно этим и отличаются современные сатирики в нашем Отечестве. Понятно, большинство из них нерусские, да ещё оголтелые «демократы», и, без сомнения, потому-то их произведения пропитаны желчью, ёрничаньем, злорадной насмешкой, неприкрытым презрением к русскому народу. Собственно, всё их творчество преследует четкую цель – поиздеваться над нашей страной. Не случайно герои их произведений – сплошь русаки-глупцы, непросыхающие пьяницы (разумеется, герои-соплеменники – все как один непьющие, остроумные, доброжелательные). И это делается с ядовитым умыслом – вселить в наш народ комплекс неполноценности, чтобы он, обворованный, униженный, не поднимал головы. У этих злодеев всё чётко продумано.

Сейчас, во время «демократической» пирушки, «мастера» сатиры заполонили всю эстраду, их сборища ежедневно показывают все телеканалы, в издательствах том за томом выходят их сочинения, но у любого более-менее подготовленного читателя такое чтиво не вызовет не только смеха, но и улыбки, а у знакомого с Салтыковым-Щедриным, Твенем,

Чапеком, Гашеком вызовет отвращение.

В отличие от ныне процветающих сатириков, Егоров – истинно русский писатель и показывает нелепости нашей жизни в мягкой ироничной форме. Некоторые его вещи даже не сатира, а грустный юмор, за которым видна боль за нашу страну. Неутихающая боль.

Егоров только в зрелом возрасте серьёзно занялся литературой. Не стану кривить душой, многое из его первых сочинений мне принять трудно (по качеству текста), но, естественно, о творческом человеке надо судить по его лучшим работам, поэтому перечислю рассказы Егорова, которые без преувеличений можно назвать первоклассными: «Пасхальные яйца», «Собачья жизнь», «Молитва», «Рай».

К сожалению, эти рассказы – последнее, что написал наш друг; тяжёлая болезнь оборвала его жизнь. Сыграли свою роль и события последних лет: он остро переживал разрушение нашей страны, ведь был подлинным патриотом, каких сейчас мало. Я имею в виду тех, кто открыто подаёт голос, а не просто бурчит под нос – таких-то полно.

Незадолго до смерти Егоров решил издать книгу за свой счёт и стал собирать рукописи, но не успел. На сороковинах Шашин, молодчина, объявил, что сделал компьютерный набор всего, что написал наш друг, и для издания книги нужны деньги – их дал старинный друг Егорова, главный редактор «Правды» А. Ильин. Ишков, Рогов и я тоже примкнули к этому благородному делу – написали по странице «Памяти

друга». Книгу Шашин сделал замечательную, она – лучший памятник нашему другу.

Я часто вспоминаю Егорова... Бывало, звонит, и с нарочитой деликатностью подтрунивает надо мной:

– Это квартира известного писателя Леонида Анатольевича? Вас беспокоит никому не известный скромный литератор Егоров. Я глубочайше извиняюсь, но позвольте узнать, какие у вас планы на завтра? Как вы смотрите на то, что мы соберёмся у вас в небольшом дружеском составе? С Ишковым и Шашиным я уже договорился. Мои больные ноги подсказывают, что завтра будет дождь, а в дождик хорошо беседовать.

До встречи на небесах! (Записки старого ворчуна)

*Бесценнейшим из драгоценнейших,
великолепнейшим из прекраснейших, друзьям моим,
сочинителям детских книг*



ДО ВСТРЕЧИ НА НЕБЕСАХ!

(Записки старого ворчуна)

*Бесценнейшим из драгоценнейших,
великолепнейшим из прекраснейших,
друзьям моим, сочинителям детских книг*



В ЦДЛ писателей и гостей снимал фотограф с огнен-

но-рыжей, «полыхающей» шевелюрой и такими же усами, в ярко-красных рубашках, от которых прямо било жаром. Его звали Гера Беляков; он называл себя «бывшим шофёром-дальнобойщиком» – понятно, эта профессия придавала облику Геры дополнительный вес. Гера считался мастером групповых портретов. Он подходил к писателям (или гостям) и, улыбаясь в оранжево-рыжие, даже красноватые (от курева) усы, говорил:

– Ваши лица просятся на групповой портрет. Встаньте, пожалуйста, сюда. Поплотней, но не слишком. И улыбайтесь!

Делал Гера и индивидуальные портреты, но с меньшим удовольствием, чем групповые. Он вообще любил всякие сборища – похоже, когда шоферил, ему не хватало общения, и, сменив профессию, он навёрстывал упущенное. Я называл его групповые портреты «нагромождением тел и лиц», но Гера не обижался и поэтично провозглашал:

– Эти портреты как букет полевых цветов, где один цветок оттеняет другой. Когда на снимке много разных лиц, подчёркивается своеобразие каждого. Они смотрятся на контрасте.

Стоило клиенту появиться в его закутке-ателье, Гера сразу, без всяких вопросов, показывал на стул:

– Сюда, пожалуйста, и улыбайтесь!

Случалось, клиент недоумевал:

– Почему вы не спросите, как я хочу сфотографироваться?

Гера спокойно пояснял:

– Если фотограф спрашивает, как вас снять, – сразу уходите. Мастер должен знать, как именно снимать, – Гера прищуривался и щёлкал пальцами.

После такого ударного объяснения становилось ясно – он-то мастер своего дела, и ему можно доверять на все сто процентов.

Перед съёмкой Гера долго устанавливал свет, поворачивал клиента в разные стороны, приподнимал и опускал его голову, при этом приседал, вставал на носки, прищуривался, рассматривал «натуру» и так и сяк. Глядя на эти скрупулёзные неторопливые приготовления, я думал, что у профессионала в работе и не должно быть спешки, азарта, другое дело – настрой. Мне вспоминался Лермонтов: «Глубокая река не допускает бешеных порывов».

Что немаловажно: подготавливаясь к съёмке, Гера непременно спрашивал у клиента:

– Вы относитесь к миру писателей или к другому миру?

И после того как клиент объяснял, из какой он сферы, находил общих знакомых и тем самым устанавливал дружеский контакт. В заключение Гера непременно выдавал качественную формулу:

– Улыбайтесь! Вы наверняка знаете, что улыбка красит лицо. – Вспомните что-нибудь хорошее...

При встречах с Герой я всегда растягивал рот и думал: в самом деле, хорошего вокруг никак не меньше, чем плохого, и жизнь состоит не только из проблем и борьбы.

За время, пока я вёл изостудию при ЦДЛ, мы с Герой не раз выпивали в его закутке-ателье, и он порассказал мне немало смешных историй из своей бурной жизни. Взять хотя бы его развод с женой, после которого супруги перестали разговаривать даже по телефону. Гера переехал к матери, но каждый месяц кидал в форточку алименты (благо квартира находилась на первом этаже), но спустя год его вдруг вызывают в суд за неуплату алиментов. Оказалось, жена сразу же после развода поменяла квартиру, «чтобы избавиться от духа мужа». Позднее супруги помирились и снова расписались.

Надо отдать должное Гере – он был хорошим отцом и по-настоящему заботился о своей дочери. Девушка увлекалась живописью, и я готовил её к экзаменам в художественное училище. В благодарность Гера подарил мне кипу фотографий моих друзей, детских писателей. Как правило, фотографии показывают человека или лучше, или хуже, но только не передают то, что есть. Снимки Геры – исключение.

Прежде чем представлять портреты своих друзей, без колебаний заявляю: детская литература – это своего рода вероисповедание, а детские писатели – определённая, ни на что не похожая каста людей.

Те далёкие времена

Особо одарённый друг мой, Геннадий Цыферов, с фотографии смотрит сквозь бликующие очки, смотрит прищурившись, колюче, с усмешкой – и не поймёшь, то ли он добродушный острослов, то ли положительный зануда.

В моём столе лежит лист бумаги с крестами и фамилиями умерших друзей – это моё кладбище. Оно большое. Много моих друзей уже на небесах (я не говорил им «Прощай!», говорил «До встречи!», поскольку временами всё-таки надеюсь на загробную жизнь). Одни из друзей умерли совсем молодыми. Например, Саша Камышов, акварелист, которому пророчили ослепительное будущее. Другие, вроде писателя Юрия Качаева или художника Юрия Молоканова, умерли в среднем возрасте, но для меня навсегда остались молодыми, потому что они были большими мальчишками – дух имели мальчишеский, не случайно и работали для детей.

Несправедливо рано и, что особенно горько, именно когда у него появилась своя отличительная манера, умер график Виктор Алёшин. Когда-нибудь я поделюсь воспоминаниями об этих своих дружках. Непременно. Это мой долг перед ними. А сейчас расскажу о сказочнике Геннадии Цыферове.

Это был насмешник тот ещё! И хитрец под маской добрячка-простофили. Бывало, в компании пощипывает бородку, посмеивается, вставляет едкие словечки. Прочитает ру-

копись кого-нибудь из друзей и насмешливо-снисходительно тянет:

– Неплохая вещица, лихой сюжетец, но это уж на любителя. Скорее, для домашнего употребления – жены там, тёщи...

Или язвительно:

– Творческая неудача большого мастера, сукина сына, хе-хе. Такой казус.

Ему, старому хрену, прямо доставляло радость кого-то поддеть, подразнить (скажет колкость и победоносно ухмыляется, а то и ржёт, обнажая кривые зубы в пузырьках слюны). Однажды на художественном совете обсуждали его мультфильм «Влюблённый крокодил». Канючили долго. Наконец, Цыферов не выдержал:

– Легче удовлетворить африканку, чем худсовет, – заготал и, пощипывая бородку, вышел (он частенько выдавал такие сексуальные пассажи).

Цыферов называл себя «выходцем из купцов»; он носил очки на цепочке, бумажник со множеством отделений (в котором было мало денег, но тьма телефонов с женскими именами) и, любуясь собой в зеркале, тщательно подстригал усы и бородку клином. Его мать была бухгалтером, а отец одним из руководителей лесной промышленности (он погиб на войне) – о них Цыферов тоже рассказывал со смешком, но с печальным смешком. Ну а сам наш герой окончил педагогический институт и некоторое время учительствовал в интер-

нате; дети на нём висли – он привлекал их своей чужаковатостью; они его звали «большой шутник». Что верно то верно – сказочник шутил по любому поводу, даже над религией (с неверующими был верующим, с верующими – неверующим).

В конце пятидесятых годов Цыферов недолго работал ответственным секретарём в «Мурзилке» (позднее на его место пришёл В. Берестов, который, вслед за В. Познером, был секретарём у Маршака – классик и протолкнул его в литературу.) А жил Цыферов в коммунальной квартире гостиничного типа. Этот гостиничный тип представлял собой душный полутёмный коридор со множеством дверей в крохотные комнаты. Квартира находилась в «Пассаже» над магазином «Шляпы», и под окном Цыферова с утра до вечера шумела разноликая толпа; там происходили прекрасные и дикие сцены. «Интересное занятие – наблюдать за этим муравейником, – рассуждал я. – Вся жизнь как на ладони. Наблюдай и пиши. Материала на собрание сочинений хватит – ведь натуралист Ж. Фабр всю жизнь прожил на одной поляне и о её обитателях написал несколько томов».

Но окно Цыферова было плотно завешено шторами (если он ждал гостей); на столе горели свечи, на полу красовались окантованный бронзой саквояж и допотопный огромный чёрный зонт, на стенах покачивались театральные куклы, у потолка гигантской медузой плавал абажур, и по всей комнате возвышались груды книг. Махинатор сказочник со-

знательно устраивал бутафорию – живу, мол, в сказке, в передвижной кибитке.

На самом деле у него была обычная, ничем не примечательная жизнь без особых красот, всяких скачков и потрясений; он не совершал подвигов, но и не делал глупостей, а вот когда садился за письменный стол и погружался в сказку, действительно «жил» интересно, насыщенно. Его постоянными героями были ослик и медвежонок – два романтика, которые искали в жизни добро и красоту.

Здесь самое время упомянуть о друге Цыферова, тоже сказочнике, плодовитом писателе Сергее Козлове. (У них отношения были не очень душевные, но всё же приятельские, их объединяло неутомимое волочение за женщинами. Козлов хвастался: «Если выстроить всех моих женщин, они протянутся от ЦДЛ до универмага «Детский мир».) Сразу же после школы Козлов поступил в литературный институт (редкий случай) и принял католичество, а написав первые сказки, собрал друзей-писателей и объявил:

– Мы все пробиваемся в одиночку, но больше всех шансов у меня. Поэтому вы должны работать на меня: писать рецензии на мои публикации, организовывать мне рекламу, писать, что я гений и прочее. Когда я выйду на орбиту, вытащу и вас.

Вот так просто и объявил выскочка Козлов (только что не сказал «мне нужна слава!»). Позднее он, как и Цыферов, который оказал на него существенное влияние, тоже стал пи-

сать об ослике и медвежонке. Издатели путались – где чья сказка? Мне и вовсе приходилось туговато, поскольку я иллюстрировал эти сказки (в журналах АПН) и мне нужно было придумать двух разных медвежат и двух разных осликов (например: один добрый, другой злой, один – тихоня и скромник, другой – шумный грубиян). Когда всеобщая путаница достигла предела, Козлов, ужасно нервничая, сказал Цыферову:

– Ты пиши только про ослика, а я буду писать только про медвежонка.

Так сказал дурошлёп Козлов, чтобы раз и навсегда поделить зверей. Его мысли читались яснее ясного. Цыферов перепенился, потом хмыкнул и, изловчившись, написал совершенно неожиданные «Сказки старинного города». И Козлов неожиданно забросил медвежонка и ослика; перегруппировавшись, он написал сказку про ёжика в тумане – слабоватую, кисельную вещь, которая прозвучала только благодаря мультфильму и которая является перепевом сказки Цыферова «Ёжик и Сверчок». Тем не менее вскоре Козлова приняли в Союз писателей. А сказки Цыферова про город так и не напечатали, и в Союз писателей его не приняли; постарался председатель приёмной комиссии Ю. Яковлев-Хавин (два раза прокатывал сказочника).

– У Цыферова слишком много жёлтого, – морщился, – жёлтые цыплята, лягушата...

Сионист Яковлев-Хавин долго мурыжил и А. Баркова:

– Всё это мило, но непрофессионально, – брезгливо кривился.

Цыферов потерпел полный крах (и это несмотря на то, что его сказки уже печатали в Чехословакии, Польше, Японии; «Жил-был слонёнок» вышел пятимиллионным тиражом, и, кстати, стоила книжка шесть копеек). По этому поводу некоторые, под видом сочувствия, злорадствовали, но кое-кто советовал Цыферову сходить к Михалкову.

– Не пойду ему кланяться! – возмущался мой друг. – Я пишу не хуже его! (Он проиграл, но голову держал высоко.)

В те знаменательные дни Цыферов хорохорился, делал вид, что совсем не огорчён таким поворотом событий. В самом деле, что огорчаться? Ведь после того как писателя или художника приняли в творческий Союз или даже отметили наградой, он не будет лучше писать – это понятно и дураку. Чаше бывает наоборот – признание и слава идут писателю и художнику во вред, в него вселяется некая успокоенность. Давно замечено: слава погубила немало талантов, ведь прославленный человек может зазнаться и менее требовательно относиться к работе, может вообще бросить работу – подумает: вдруг сделаю хуже, чем делал до сих пор. И, наверно, действительно страшно. Яснее ясного: прославленный человек уже как бы взлетел, и от него ждут новых высот, ему нельзя снижаться. К счастью, слава мало кому достаётся. Да и те, кому достаётся, не всегда её заслуживают.

Ответственно заявляю: Цыферов не очень расстроился,

что его прокатали в писательский Союз, еще и потому, что считал свои сказки «намного лучше, естественней и искренней», чем у остальных современников. «Я буду вторым Чуковским», – говорил он (в подпитии вообще ставил себя на одну ступень с Андерсеном – «мои сказки помогут спасти мир, хе-хе!»), но, конечно, всё-таки он переживал, ведь талантливый всё остро переживает, только мне кажется, его красивая неудача лучше, чем некрасивый успех Козлова.

В те годы своеобразные сказки Цыферова мне казались новым, свежим словом в искусстве, загадочной, эластичной прозой, калейдоскопом акварельных миниатюр-зарисовок (всё казалось, он знает какие-то тайные литературные ходы), но теперь-то я понимаю: многие из его сказок по большому счёту – попросту слащавые бессюжетные картинки, рафинированные затеи, литературные фокусы – их прочитаешь и забудешь, а с героями сказок Андерсена, братьев Гримм, Фрэнка Баума ещё долго живёшь. Я убеждён – без сюжета нет сказки.

Понятно, для детской души необходимы сентиментальные выдумки, но всякие «Паровозики в небе» – не что иное, как взятая с потолка слюнявая нарочитость, красочная упаковка, в которой пустота. Это, конечно, увлечёт некоторую часть детского населения, но такие вещи несоизмеримо далеки от «Конька-Горбунка», «Чёрной курицы», «Буратино». Никак в толк не возьму, почему современные сказочники не пляшут от классики и всё дальше уходят от наших вели-

ких традиций, забивают в них гвозди? Кстати, сказки Козлова, по-моему, вообще всего лишь посредственность (можно взять любую – «Черепаша на солнышке», «Ослик, который повесился в дождь»...)

Но были у Цыферова и прекрасные вещи: «Влюбленный крокодил», «Приключения Лошарика», где есть лёгкость, временное пространство и главное – радость жизни. По некоторым сказкам мой друг совместно с Сапгиром делал сценарии для мультфильмов.

– Как вы вдвоём работаете? – недоумевал я.

– Очень просто, – хмыкал Цыферов. – Я пишу, а он добавит стишок и пробивает. У него связи, хе-хе. Режиссёры в детских театрах. А наши мультфильмы ставит Марк Качанов, дружок Генриха. В «Детском мире» (издательстве) его любит Асан Гольдфрельд... Сейчас Генрих пробился в театр сатиры. Там одни евреи. Мы с ним будем делать инсценировку по «Карлсону»... Евреи молодцы, тянут друг друга. Зиновьев тянул Мандельштама, Гельцер и Ромм – Раневскую... Такая примечательность, хе-хе. А мы, русаки, топим друг друга. Ну и евреи топят нашего брата, ведь они отправили на тот свет и Есенина, и Маяковского, и Клюева, и Гумилёва, и Дворяшина, и Галанова – всех, кто выступал против них. Вот смотри, какой интересный фактик, – он достал старое издание Маяковского и прочитал стихотворение «Христофор Колумб». – А теперь смотри – вот последний сборник Маяковского, оттуда уже выкинули строчки про еврей-

ев. Такой фокусик, хе-хе. Хитрый народец. Восхваляют Мандельштама, Цветаеву, Ахматову, но они все мозговые, без души. Их поэзия холодная, стеклянная, хе-хе. Кстати, к Ахматовой меня водил Сапгир. Злая тётушка. «Есенин – плохой поэт, – говорила, – у него нет ни одной приличной строчки». А Есенин-то – самородок. Лучший поэт России, после Пушкина... Она и Льва Толстого называла «мусорным стариком». Каково, а?! Злая тётушка. У неё и лицо хищницы. Хорошо её приложил Бунин: «Полумужик, полубаба» – сказал... Она поддерживает ленинградских евреев. Рейна, Кушнера, Бродского. У них тоже стеклянные вещицы, для избранных, хе-хе. Ну, может, на дне души у них что-то и есть, но душа-то нерусская. Такое впечатление, что они живут не в России. Сапгир-то считает их гениями. Стеклянные гении, хе-хе! Полубоги кисельного цвета!

В общей сложности Цыферов написал шестьдесят пьес (Сапгир сочинил к ним стихи), но после его смерти (в сорок два года) Сапгир ставил на пьесах только свою фамилию. Дочь Цыферова Люся возмутилась. Сапгир начал выкручиваться:

– Понимаешь, если оставить две фамилии, то получишь только тридцать процентов, а так я получу больше денег и с тобой поделюсь.

– Мне не надо ваших денег, мне нужна фамилия отца, – твёрдо заявила Люся. (Кстати, благодаря ей сейчас вышло несколько книжек моего друга.)

Однажды Цыферов написал «Тайну запечного сверчка», где жук заползает в чужой мир (в это время произошли события в Чехословакии). И надо же! Неожиданно моего друга вызывают в КГБ, где чихвостят за «явную аналогию». По этому поводу мы устроили весёлое застолье.

– Я думал, они будут меня шерстить за встречи с бабами, – смеялся Цыферов, – а они копнули глубоко... Скажу тебе, там не дураки сидят, университетские значки нацепили...

Кроме сказок Цыферов писал неплохие эссе о Моцарте, Андерсене, братьях Гримм... После этих работ Цыферова всё же решили принять в Союз писателей, но в нём разыгралась давняя обида – он, гордый дядюшка, отказался.

В Детгизе не издали ни одной книжки Цыферова.

– Там одни евреи, – говорил мой друг. – Миримский, Арон, Либет. Они меня на дух не принимают. Отдают на рецензию Глоцеру из радиокомитета. Ничтожный типчик, хе-хе. Он ещё критик по детской литературе! Ничтожества ведь всегда комплексуют. Сам-то он ни на что не способен... А главный их рецензент – Рахиль Баумволь. Она сделала всё, чтобы меня не печатали. Говорит: «Цыферов сочиняет сказки в пьяном бреду». Полная чушь... А Либет скрывает свою ненависть к русским. Вежливо просит переделать. Раз десять. Потом, поганка, всё равно рубит. Заболтает любой сюжетом. Её издевательство многослойно, как отравленный пирог, хе-хе... И страшна она – вроде мордатой собаки моего соседа. Волчица в чепчике, хе-хе. С ней может спать только

мужик под наркозом, хе-хе...

А. Барков рассказывал, как однажды в Детгизе К. Арон дошёл Цыферова до нервного срыва: «Зря немцы таких, как ты, оставили. Я тебя не пощадил бы. Ноги моей здесь больше не будет!»

Такие вспышки у сказочника случались не раз. Когда А. Митяев (главный редактор «Мурзилки») стал разбирать его рукопись, Цыферов не выдержал: «Толя, пошёл ты на х...!» – забрал папку и хлопнул дверью.

Первое время, когда я приходил к старине Цыферову, у соседей над его комнатой играл струнный оркестр.

– Обрати внимание, какие изысканные музыканты! Играют Моцарта, Вивальди, – Цыферов показывал на потолок и благоговейно улыбался. – Музыка – самое высокое из искусств. Казалось бы, всё просто – только вовремя нажимай на нужные клавиши, но, чтоб это проделать, надо иметь слух, чувство ритма и прочее... Это тебе не кисточкой мазюкать, хе-хе.

Позднее выяснилось, что хитроумный сказочник нарочно всё подстраивал: к приходу гостей звонил приятелям – «изысканным музыкантам», и те за бутыль «Гамзы» играли на верхней лестничной клетке. Когда Цыферова навещали «девахи» и «мамзели» (его выражения), он, показушник, ещё рассыпал на полу старинные монеты – для дополнительного эффекта. Попробуй не потерять голову от такой экспозиции! Ну и, само собой, мой друг дарил женщинам свои

книжки (подписи разукрашивал виньетками, себя изображал слонёнком). Я говорил ему:

– Мы все просто бабники, а ты мучитель-разрушитель женских сердец, комический злодей.

– Нет, я романтик, – смеялся Цыферов. – У меня благочестивая душа, хе-хе... Я давно готов к чистой, романтической любви, но всё какие-то не те бабы попадаются...

Однажды я попытался влезть в его благочестивую душу и попросил в общих чертах описать женщину, которую он хочет встретить. Усмехнувшись, он подробно нарисовал женщину с гротесковыми формами и сотней достоинств – «с глазами, в которых цветут фиалки».

– ...Но она будет неприступная, – расплылся Цыферов и объяснил, как будет её завоёвывать «и это будет прикладным искусством», как в конце концов она станет покорной «киской» и у них начнётся любовь «длиною в... два года».

– Почему так мало? – удивился я.

– Потянет к другой неприступной, хе-хе, – засмеялся Цыферов, балда. – Трудно побороть любопытство, – и дальше понёс что-то опереточное, рассказал о гражданской жене, «объёмной» продавщице Гале, которая имела твёрдый характер. – Она всё хотела сделать из меня «пушистого и мягкого», но такого зверя, как я, трудно завалить, хе-хе. (Он звал эту Галю «император», а его дружки кто как: одни – «чудом», другие – «чудовищем». От официальной жены Раи он имел способную, но взбалмошную дочь Люсю. «В её душе и бог,

и чёрт, – говорил Цыферов. – От меня, естественно, бог, а чёрт – от Райки».)

У отпетого бабника Цыферова была туча романов, он попросту коллекционировал женщин – в записной книжке вёл учёт блондинок, брюнеток (рядом с телефонами делал заметки-памятки: «тонкая, зубастая», «хохотушка», «рыжая, с большой ж.», «три Кати: Екатерина первая, Екатерина вторая, Екатерина третья»; после романа телефон вычёркивал – женщина как бы для него умирала, и он отправлял её в свой колумбарий). На любовном фронте Цыферов преуспевал, как никто, а меня натаскивал:

– С женщинами, как и с выпивкой, нельзя делать резких движений. Выпивая, надо плавно повышать градус, а после выпивки, на другой день, понижать. Иначе случится приступ. Так и с женщинами. После блондинки нельзя сразу переключаться на брюнетку, надо немного покрутить с шатенкой, а то случится эмоциональный шок, хе-хе. (Кстати, женился он на рыжей.)

Все вечера напролёт Цыферов, «чтобы развеять хандру» (которая время от времени на него нападала), просиживал в ресторане Дома актёра, охмурял театральных (и не театральных) девиц, причём сразу девицам представлялся сказочником (понятно, одно это слово приводило женский пол в трепет) и тут же красочно пересказывал что-либо из своих произведений (ему было достаточно прочитать одну короткую сказку, чтобы все женщины падали). В такие минуты

казалось, что он и за сказки-то взялся, чтобы только охмурять девиц – как некоторые слаборазвитые поэты для этого стали бардами.

– У таких, как Генка, половой мрачок, – сурово брюзжал писатель Геннадий Снегирёв. – Таких полно. Вон Стацинский (художник), Приходько... (Действительно, первый хвастался своей «колотушкой», второй частенько юморил на тему секса – например, увидев Новоиерусалимский монастырь, произнёс: «Какой-то монструальный монастырь»). Понятно, можно простить грубость, но не пошлость.)

– Жизнь каждого талантливого человека – сплошные бабы, – возражал Зульфикаров (я думал примерно так же и, естественно, своё неутомимое ухлёстывание за девицами рассматривал как явный признак какого-то таланта).

В Дом актёра Цыферов чаще всего ходил с друзьями Цезарем Голодным и Виктором Новацким. Эти деятели, внешне почти красивые люди, называли себя журналистами и драматургами, но ничего толком не писали, поскольку из них не выветривался сексуальный угар: Голодный с утра фланировал взад-вперёд по «Броду» (улице Горького), кадрил девиц (он был разведённым; бывшую жену называл «кассой взаимопомощи» – она, богатенькая, давала ему деньги в долг), а Новацкий и вовсе жил с двумя одновременно («Любовь втроём требует немало душевных и физических сил», – говорил, оправдывая свою творческую хилость).

И всё же пустоголовые дружки Цыферова что-то делали (к

примеру, Новацкий изредка писал статьи о театре), и понятно, о творческом человеке надо судить не по тому, сколько он пьёт или имеет женщин, а по его работам, ведь, в сущности, только работы и имеют значение. Но, повторяю, ничего запоминающегося эти дружки Цыферова не сделали и навсегда остались в тени сказочника. Кстати, спустя лет тридцать я встретил Новацкого – он, уже пожилой, высохший, как мумия, вёл под руки двух новых женщин (похоже, его душевные и физические силы ещё не иссякли).

Выпивал Цыферов нередко, но немного; никто не видел, чтобы он накачался сверх меры; незадолго до смерти, когда у него появились болезни, он вообще завязал с выпивкой и во всём остальном установил для себя щадящий режим.

Довольно часто Сапгир таскал Цыферова (иногда и меня) на неформальные выставки художников. Выставки устраивались на квартирах диссидентствующих интеллектуалов, и, понятно, публика там собиралась отборная – среди них почти не было русских. Помню холсты Рабина: пьяные русские мужики валяются в грязи перед кабаками. Несмотря на это измывательство над Россией, Цыферов общался с неформалами. Он вообще старался быть левым оригиналом – так был противоречив в своих взглядах, а порой и в работах. Правда, однажды, на свой день рождения, выгнал Рабина из квартиры. Тот принёс в подарок имениннику свою очередную абстракцию.

Цыферов уже был под парами и заорал:

– Ты, гад такой, живёшь в России, дышишь русским воздухом, пишешь русскими красками, а картины носишь в американское посольство, продаёшь по триста долларов! Пошёл на х...! (Кстати, Рабин хранил брюки Сапгира, говорил: «Это панталоны гениального поэта».)

Частенько Цыферов заходил к режиссёрше Ануровой, у которой собиралась еврейская богема.

– Я там вылечиваюсь от хандры, – объяснял. – Они меня принимают за своего, говорят: «Ты наш, ты как пчела, от всех берёшь понемногу». Чего я беру? И сам не знаю, хе-хе.

Справедливости ради замечу – после его смерти режиссёрша немало сделала, чтобы собрать и сохранить его рукописи, при этом называла сказочника гением.

Как-то я сказал Цыферову:

– С одной стороны, ты не любишь евреев, с другой – липнешь к ним.

– Не я липну, а они, – засмеялся мой друг. – Понимаешь, они всегда липнут к талантливым. А их бабёшки стараются опутать талантливого русского, затащить его в загс, взять его фамилию. Знаем мы эти штучки, хе-хе. Я романился с еврейками. Помню, была одна. Её единственным достоинством была роскошная задница... И была ещё одна. С большим бюстом. Но у неё были огромные плечищи. Вообще, узкие плечи и большая грудь крайне редко бывает у женщин, но это самый смак, такие – сногшибательные красотки... А вообще я всяких бабцов люблю. Сегодня говорю им компли-

менты, а завтра плачу алименты, хе-хе!

У многих крупных художников голова просто пухнет от замыслов, они вечно спешат, боятся, что не хватит жизни для воплощения своих планов. У Цыферова не было никаких планов – сюжеты он черпал из того, что ему попадалось на глаза, с чем сталкивался в жизни. Он ходил по улицам неторопливо, еле передвигая ноги-ходули, заложив руки за спину, демонстрируя величественное спокойствие. В старомодном костюме, со сбитым набок галстуком и развязанными шнурками, он выглядел человеком со странностями, попросту ненормальным или прилично принявшим на грудь – и, как все чудаки, сразу притягивал к себе внимание. (Кстати, ему было всё равно, во что одеваться; временами демонстрировал «элегантную нищету», но даже драный свитер носил, как королевскую мантию.)

Бывало, идёт по улице, всё пристально рассматривает сквозь толстые стёкла очков, посмеивается, бормочет – на ходу сочиняет сказки. Увидит цветущие липы или старинную ограду во дворе, особняк с облупившейся штукатуркой или бездомного бродягу – тут же сочиняет сказку; ему всё служило зацепкой для фантазии. Он помещал в сказку всё, что его окружало, одушевлял все предметы. Глядя на него, я думал – готовность к чудесам рождает чудеса, и вспоминался Ж. Амаду, который говорил: «Я праздношатающийся зевака, болтающийся по улицам, наблюдающий за людьми, черпающий сюжеты».

Когда мы с Цыферовым бродили по улицам (а я к нему сильно привязался и радовался каждому дню, проведённому с ним; он был старше меня на шесть лет и был гораздо образованней и начитанней), он постоянно обращал моё внимание то на увядающие каштаны и тут же, на ходу, сочинял сказку и брал с меня слово, что завтра же сделаю к ней иллюстрации и напечатаю в АПН; то на «подходящее место для свиданий», то на собаку, которая стояла у светофора и переходила улицу вместе с людьми, то на ссорящихся супругов – и сразу представлял их семейную жизнь, вплоть до словечек, которыми они перекидываются. Однажды в каком-то дворе заметил кота – судя по замызганному виду, подзаборного.

– Возьму-ка его, надо подарить одной грудастой мамзели, она въезжает в новую квартиру, – пробормотал. – Будет жить в королевских покоях. Может, напишу о нём сказку. Назову его, бедолагу, в твою честь, вы чем-то похожи, хе-хе (имелась в виду моя бесприютность)...

Он попытался поймать кота, но тот дал дёру. Его знакомая лишилась хвостатого дружка, а я не стал прототипом сказочного персонажа. В другой раз мы увидели старика нищего, и Цыферов объявил, что старик наверняка бывший моряк. И с чего взял? Никаких морских примет у нищего не было. Чтобы проверить его домыслы, мы подошли к старику. Неожиданно он заговорил по-английски; потом перешёл на русский. Он оказался бывшим матросом, который долгое время жил в Англии...

Ну и конечно, Цыферов не упускал из поля зрения ни одну женщину... Прогулки с ним были, без преувеличений, жизненным университетом, он из любой ситуации устраивал приключение. Я вспоминал вычитанную где-то фразу: «Великое познание людей приобретаешь на улице» – и думал: необыкновенное вокруг нас случается каждый день, надо только уметь видеть. И теперь, по прошествии многих лет, для меня с именем Цыферова, честное слово, связана радость, праздничное настроение.

Чем ещё запомнились наши прогулки, так это щегольским бахвальством Цыферова. Заметив красивый особняк, он непременно приосанивался:

– Когда-то я в нём жил. Снимал комнату у одной жирной мамзели, хе-хе.

Стоило мне кивнуть на красивую женщину, как он поворачивался, вытягивал шею, прищуривался:

– По-моему, я с ней спал... Забыл имя, хе-хе...

И все события своей жизни мой друг вычислял по женщинам: «Это произошло, когда я жил у этой... Это я написал, когда жил у той...»

На улицах Цыферов не только черпал сюжеты, но и настраивался на творческий лад. А мне объяснял:

– Чтобы показать свою писательскую мощь, я должен испытать отвращение: например, увидеть свалку, хе-хе... Или втюриться в какую-нибудь бабу. Тогда точно напишу первоклассную вещь... Вон Витька Новацкий. Пока не натр...ся с

женщиной всласть, за работу не садится... Мужики всё делают ради восхищения баб. Не только пишут сказки, статьи там... (Дальше он всё свёл к тому, что секс – главный регулятор творчества.)

Конечно, Цыферов был чудак, и его мир отличался чудачковатостью, но с ним никогда не было скучно.

Возвращаясь к сказкам Цыферова, надо всё-таки признать, что он первым осовременил традиционный жанр, а, как известно, первооткрывателям всегда приходится трудно.

Понятно, сказка – это мечта; Цыферов, как многие себялюбцы и пресыщенные бабники, в свои фантазии вносил идеализм – мечту о счастье, настоящей дружбе и любви... И, понятно, в творчестве выглядел как наивный романтик, а в жизни, повторяю, с друзьями выступал как едкий насмешник (с немалым набором подковырок, шпилек, коварных вопросов), а с женщинами – как опытный, изощрённый ловелас (с ещё большим набором способов обольщения). Каким-то непонятным образом в нём, чертяке, сочетались волшебство и приземлённость, причём в равной пропорции.

Одно время, очевидно, тоже для «дополнительного эффекта», чудило Цыферов вдруг начал коллекционировать лестницы. Откуда-то притащил складную стремянку, купил игрушечную пожарную лестницу; на столе из спичек собрал какие-то ступени (нормальному человеку не понять то, что у чудаков в порядке вещей). Кстати, будучи рассеянным,

Цыферов вечно терял нужные вещи (часы, авторучки), но страшно берёг ненужные (ту же игрушечную лестницу).

– Ты уж не рехнулся ли? Решил забраться на облака? – спросил я, заметив его лестницы.

– Почти угадал, – хмыкнул Цыферов. – Но пока всего лишь для декоративного обрамления, хе-хе... Потом, может, напишу сказку про живущих на облаках... Вообще-то не мешает оторваться от земли... Я, конечно, люблю свой «Пассаж» и всё такое музейное... Это как архаичная проза, где чистое самовыражение, наивность, доброта, но всё же надо бы куда-нибудь уехать, развеяться, я закис в Москве...

– Куда тебе! Ты в своей конуре, как в закупоренной бочке! – я попытался его подстегнуть.

Но, тяжёлый на подъём, ленивый, нерасторопный от природы, он так никуда и не уехал. Да и куда он мог деться от своего «Пассажа» и ВТО? Не раз я звал его пройтись по речке на моторе – куда там!

– Мне проще три раза жениться, чем прокатиться на моторной лодке, – отшучивался он. – Мои руки созданы для того, чтобы обнимать баб. Желательно полуголых, задумчивых...

Когда у Цыферова бывали деньги, он покупал у цветочницы корзину с цветами и, гуляя по улицам, дарил букеты всем одиноким женщинам. Особенно одиноким и печальным (из числа симпатичных) ещё обещал написать сказку; естественно, записывал телефон и через пару дней на свиданье прихо-

дил со сказкой. (И вновь я думал: готовность к любви рождает любовь.) Само собой, за такой подарок женщины были готовы на всё, и во время романа с Цыферовым от их одиночества и печали не оставалось и следа, но после романа они становились ещё более одинокими и печальными. Как-то он театрально протянул цветы явно опустившейся женщине.

– Мне? – вскинула она глаза и вдруг заплакала: – Мне никогда не дарили цветы. Спасибо вам, хороший человек!

– Я не хороший, а не похожий ни на кого, – хмыкнул Цыферов, когда мы отошли. – Хотя и лучше кое-кого, хе-хе... Мои еврейские дружки Цезарь (Голодный), Генрих (Сапгир) и Витька (Новацкий) слишком одинаковые – изворотливые, хваткие... Вы, русские дружки, сукины сыны, без царя в голове. И ты, и Вадька Бахревский, и Сашка Барков (двое последних – замечательные люди во всех отношениях и уж точно «с царями» – здесь Цыферов понял, что перегнул палку) – хотя Вадька с небольшим царьком, крохотным, хе-хе... А я русский, но с купеческой закваской, хе-хе... У меня здравый ум и цепкая память. Я помню себя с двух лет. А бережливая память – главное для писателя. Ну и чуткость души, без этого уж никуда. Без жалости, сочувствия. Как в анекдоте с худой бабой, знаешь? Хе-хе...

О Бахревском и Баркове надо сказать отдельно. Эти два истинно русских прозаика (и примерных семьянина) немало сделали для детской литературы, но всегда держались скромно (даже на фотографиях стоят на втором плане). Бахрев-

ский (прозаик с недюжинной фантазией, имевший своего литературного секретаря) написал около тридцати исторических романов, которые особенно ценны сейчас, когда «демократы» искажают и обливают грязью нашу историю. А Барков, будучи натуралистом, написал четыре десятка книг о нашей фауне, что тоже многого стоит. С Барковым выпивали на его даче. Пили исключительно самогон, который покупали у соседки; чтобы получить зелье, говорили пароль: «Мы из Кронштадта».

Бахревский с Барковым отвоевали своё место в литературе. Я горжусь дружбой с этими людьми, горжусь, что иллюстрировал сказки Бахревского «Зелёное болотное королевство», и, ясно, благодарен ему за восторженные рецензии на мои рукописи. А Баркову благодарен за то, что он открыл мне глаза на многих детских литераторов (одно время он работал референтом в Союзе писателей и всех знал как облупленных). Сейчас оба моих друга серьёзно больны (один после операции поддерживает работу сердца лекарствами, другой задыхается от астмы и мучается от давления), но, будучи упорными тружениками, ежедневно работают – такая в них созидательная сила.

Когда я был в гражданском браке, моя благоверная познакомилась Цыферова с подругой, манекенщицей Натальей, с которой Цыферов тут же расписался: «спас манекенку от безрадостного одиночества», «почувствовал взаимное душевное проникновение». Некоторое время мы дружили семья-

ми (почти породнились), но позднее стали видаться редко, чаще перезванивались:

– Я всё вспоминаю, как мы с тобой гуляли по Москве, когда были свободными, хе-хе, – посмеивался Цыферов. – Теперь уж не погуляем. Вон моя уже грозит половником, хе-хе. Того гляди огреет по кумполу. У нас неразрешимые разногласия... А писать... пишу понемногу. Задумал впечатляющую серию. Так что готовь красочки рисовать...

Но больше его сказки я не рисовал. Он умер внезапно от сердечного приступа. На его похоронах было множество красивых, печальных женщин; некоторые пришли с детьми – как мне показалось, похожими на Цыферова. Через много лет, когда я руководил изостудией, одна старушка привела ко мне мальчугана с папкой рисунков к сказкам.

– Петя Цыферов, – назвался юный художник.

Я посмотрел на старушку. Она пояснила:

– Это сын Геннадия Цыферова. Был такой сказочник. Может быть, слышали?

И я вдруг узнал в старой женщине тещу Цыферова и напомнил ей о себе.

– Да-да, помню, – нерешительно кивнула старушка, – всё помню... Гена был таким галантным, всегда дарил мне цветы... Сейчас таких мужчин нет.

Мужчины, может быть, и есть, но таких сказочников нет точно. Я уверен: когда-нибудь сотни людей будут приезжать издалека, чтобы только взглянуть на его могилу.

У вас есть мечта?

Мой своеобразный друг Ким Мешков на фотографии красуется озорной улыбкой.

Смешной, необузданный Мешков дразнил публику эпатажным видом и выходками. Видок у него был тот ещё! Серые волосы, лежащие на плечах, мушкетёрская борода и усы, ковбойская шляпа, яркий клетчатый пиджак, жилетка, бант или жабо, или красный шарф, завязанный немислимым узлом; зимой он носил волчью шубу и шапку из рыси и постоянно крутил на пальце ключи от старой «девятки» (в неё садился царственно, словно это не старая колымага, а новый «мерседес», и мечтал заиметь «романтический транспорт» – лошадь с каретой). Он ходил покачиваясь, раскинув руки, словно, поскользнувшись на какой-то кожуре, никак не может с неё сойти; войдя в ЦДЛ, сразу направлялся к зеркалу, рассматривал себя и так и сяк, прямо упивался своим папуасским видом, только что не говорил: «Я себя безмерно люблю».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.